

ISSN 0012-6756



**Дружба  
народов**

**4/2022**



# В номере:

## Размыкая круг

Чеченская война, «младореформаторы» и олигархи, приватизация, девальвация рубля, умирающие НИИ, обнаглевшие братки, взрывы домов... Время действия романа Александра ГРИНЕВСКОГО «Кондратьев и Лёля» — вторая половина 90-х. Герои — мечтающий уехать в Канаду сотрудник столичной посреднической конторы и странная женщина с кукольным лицом, смахивающая на городскую сумасшедшую. Он — о ней: «Психолог. Пытался расспросить, где работает, — темнит. Сказала, что время от времени консультирует несколько фирм по разным вопросам. Когда мы с ней встречаться стали, со мной что-то странное приключилось: я ей поверил». Она — ему: «Не расслабляйся, не верь никому и главное — никаких дружеских отношений. Заработаешь свой первый лимон — тогда можно думать, что делать дальше...» Роман детективный и психологический, подробный и стремительный. История пути к себе и навстречу друг другу.

## «Где ты там обитаешь теперь?..»

О поиске света, о слепоте времен, движущихся по кругу, размышляет, вглядываясь в лабиринт судьбы, Ефим БЕРШИН, «пройдя сквозь боль, врачующую болью», и готов «влюбить в себя врага/ и не убить./ Или убить любовью». В балладах Сухбата АФЛАТУНИ — актуальных, жестких, эмоциональных — ощущается натянутый нерв времени: «мы идём под ливнем/ да — мы знаем куда идти/ и это нас отличает от разных хороших других». Тема времени — одна из вечных тем поэзии, и Мариам КАБАШИЛОВА видит: «Время к вечности жмётся, вырастает, стежок за стежком».

## Демографическая контрреволюция

«Япония совершила фантастический рывок в экономике, за счет чего простые японцы значительно повысили свой уровень жизни. Но сама эта жизнь стала совсем другой». Колоссальные изменения, произошедшие за последние десятилетия в японском обществе, затронули не только институт семьи, ее численный состав, но и картину мира в целом. Об удивительном феномене в японской демографической политике, случившемся в беспрецедентно короткий по историческим меркам период, рассказывает известный российский ученый-японист, переводчик и писатель Александр МЕЦЕРЯКОВ.

## Театр внутри театра

«В конце спектакля «Моцарт “Дон-Жуан”. Генеральная репетиция» наступает темнота, и из рук Главного режиссера выскальзывает светящийся телефон. Он тихо и плавно поднимается вверх, куда-то к потолку (к небу), и исчезает. Зал замирает в изумлении. Нельзя проще и понятнее сказать о душе — и о смерти ее. Душа, заключенная в коробочку “устройства”, со всеми ее “контактами”, связями, информацией, ежедневным расписанием и новостями мира, куда-то улетает — да, это мощный символ». В рубрике «Правила игры» Борис МИНАЕВ делится впечатлениями от последних спектаклей Дмитрия Крымова и его книги «Своими словами: Режиссерские экземпляры 9 спектаклей, записанные до того, как они были поставлены».

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский  
полиграфический комбинат»,  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;  
[www.oaompk.pf](http://www.oaompk.pf) тел.: (495)745-84-28;  
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.02.2022.  
Подписано в печать 28.03.2022.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ 1494/22. Цена свободная.

## *Редакционная коллегия*

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Ольга  
БРЕЙНИНГЕР

Ирина  
ДОРНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА

Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*

Мария  
АНУФРИЕВА

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Дмитрий  
БИРМАН

Денис  
ГУЦКО

Ольга  
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Валерия  
ПУСТОВАЯ

Кнут  
СКУЕНИЕКС

Сергей  
ФИЛАТОВ

Ренат  
ХАРИС

Александр  
ЧАНЦЕВ

Вячеслав  
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

## СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сухбат АФЛАТУНИ. Новые баллады .....	3
Александр ГРИНЕВСКИЙ. Кондратьев и Лёля. <i>Роман</i> .....	9
Ефим БЕРШИН. Больные времена. <i>Стихи</i> .....	115
Пётр ВОРОТЫНЦЕВ. Заведение. <i>Повесть</i> .....	118
Денис СОРОКОТЯГИН. Эссе вокруг театра .....	166
Алексей АЛЁХИН. Зимние хокку .....	173
Игорь КОРНИЕНКО. Чернее чёрного. <i>Рассказы</i> .....	175
Мариям КАБАШИЛОВА. Плыви на быстрых парусах. <i>Стихи</i> .....	199
Григорий РЯЖСКИЙ. Идиотик. <i>Рассказ</i> .....	201
Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Небесная Твердь. <i>Рассказ</i> .....	211
Алексей МАЛАШЕНКО. Женщина и Бог. <i>Рассказ</i> .....	220
Александр ОРЛОВ. Во всём исчезнет суета. <i>Стихи</i> .....	225

## КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Александр ВАСЬКИН. «Возможно, мне дадут Госпремию». <i>Советские писатели в очереди за наградами</i> .....	227
---	-----

## ЧЕРТА ГОРИЗОНТА

Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Туда и обратно. <i>Эссе</i> .....	247
---	-----

## НАЦИЯ И МИР

Александр МЕЩЕРЯКОВ. От многодетности к долголетию. <i>Демографический опыт Японии</i> .....	257
---	-----

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Верлибр, и снова верлибр .....	265
---	-----

## ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Дон-Жуан прощается .....	269
--	-----

<b>Summary</b> .....	<b>272</b>
----------------------	------------

*Сухбат Афлатуни*

## НОВЫЕ баллады

### *Баллада о нелюбви*

нас не любят  
нас не любят за всё  
неясно за что нас можно вообще любить  
мы не верим в Дарвина  
мы чушь несём  
мы грузим  
и учим жить

мы не верим в Дарвина  
да — мы  
полагаем что Земля на черепахе  
и трёх китах  
ещё мы бездарны  
мы люди тьмы  
сами в страхе  
и сеем его всюду  
страх

ещё мы строим большие  
безвкусные храмы — да  
вместо школ лепрозориев и библиотек  
потому что на трёх китах — см. выше — у нас Земля  
а кругом вода —  
и за это любить нельзя —  
и что не верим в Дарвина  
великий же человек

---

*Сухбат Афлатуни* (Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор нескольких книг стихов и прозы, среди них — «Русский язык» (М., 2019). Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодёжной премии «Триумф» (2006). Постоянный автор «ДН». Живёт в Ташкенте.

ещё напиваемся  
садимся в мерседесы и давим детей  
а потом выходим в телевизор  
и учим жить  
а ещё мы не вылезаем из соцсетей  
и такое там пишем  
просто жуть

как такое можно  
писать в 21-м в.  
и как Бог — если Он есть — может нас терпеть  
с нашими иконками на лобовом стекле  
потёмками в голове  
есть конечно нормальные  
но их единицы ведь

а мы и сами не знаем  
как может Он нас терпеть  
маленьких грязных  
не ведающих что творим  
мы идём под ливнем  
вдоль реки и продолжаем петь  
и слова наших песен  
горьки  
аки кадильный дым

и всплывают в этой реке  
три кита  
и черепаха голову высовывает свою  
и голенький Дарвин  
на скользкой спине кита  
плывёт Ионой-пророком  
и научную песнь поёт свою

мы идём под ливнем  
да — мы знаем куда идти  
и это нас отличает от разных хороших других  
и за это нас невозможно любить  
почти  
за наши слёзы молитвы  
и солнце в конце реки

## *Баллада о воздухе*

воздух есть — но уходит свет  
воздух есть — но бледнеют силы  
наступает долгая ночь  
наступает  
уже наступила

главное — что воздух есть  
происходят вдох и выдох  
что пока не скомкан весь  
и не выжат  
до капли

воздух есть — но дышать трудней  
воздух есть — но ловишь губами  
пустоту — как бы дышишь ей  
привыкая

главное — что дышать  
не мешают  
не запрещают  
есть для вдоха — стол тетрадь  
и для выдоха — чашка чая

воздух есть — он стоит вокруг  
золотистый  
и золотушный  
воздух есть — это наших губ  
и ноздрей хлеб насущный

главное — это наших тел  
золотистый обмен кислородный  
и любовь — аппарат ИВЛ  
безвозмездный  
природный

воздух есть — пристегнуть ремни  
затянуть пояса  
надеть маски  
«на ещё вдохни» — и плывут огни  
в небесах  
отражаясь в солдатской каске

## Баллада о композиторе и лётчике

композитор садится в кабину  
самолёта «У-2»  
пот покрывает спину  
плохо ведёт себя голова

лётчику дали задание  
за полчаса  
товарищу из филармонии  
показать небеса

композитор боится пилота  
с запахом смерти изо рта  
композитор боится полёта  
и самолета «У-2»

лётчик ничего не боится  
смерть — баба  
он с бабами — асс  
предложит и ей прокатиться  
в небесах  
потом — на матрас

композитор глядит в затылок  
пилота — тот сел впереди  
потом на дрожанье закрылок  
шепчет *господитомоги*

лётчик не верит в Бога  
только в технику и азарт  
машина бежит по полю  
и возносится в небеса

набрав высоту выполняет  
мёртвую петлю — глядя назад  
лётчик смеётся  
композитор понимает —  
это ад

экскурсия окончена — налетались  
рукопожатие  
одна-две  
фразы — композитор шатаясь  
по выгоревшей траве

как пьяный — он и есть пьяный  
небо тот ещё алкоголь  
в голове си-диез фортепьяно  
ре-бемоль



композитор напишет сюиту  
озаглавит её «Полёт»  
на премьеру пригласит её  
пилота и пилот придёт

в той же лётной форме  
с тем же запахом — в зал  
областной филармонии  
и в кресло  
как за штурвал

лётчик слышит знакомые звуки  
вот заработал мотор  
дирижёр поднимает руки  
вступает небесный хор

лётчику делается страшно  
от привычных но каких-то других  
звуков — бегут мурашки  
шепчет *господипомоги*

композитор всё машет руками  
вот и тема мёртвой петли  
лётчик шевелит губами  
композитору в затылок глядит

сюита окончена — оттархтели  
аплодисменты  
две-три  
фразы — всю ночь в постели  
лётчик будет курить

до зари — композитор премию  
получит через год  
пилот попадёт в авиа-  
катастрофу — но не умрёт

## Баллада о славе

слава приходит к тому кто её не ждёт  
как горьковатый мёд  
дым  
золотая отравы  
слева приходит — или же наоборот  
справа

или бросается сзади и душит пыхтя  
в потных объятиях — нравы  
у неё простоваты — или вопит как дитя  
*браво!*

или как ветер холодный горячий любой  
мечутся травы  
или как медь оркестровая  
нежной  
и  
глухонемой  
державы

и нападает на того кто не ждёт её  
а живёт обычной  
тихой и не кровавой  
встаёт на работу  
раз в неделю меняет бельё  
ест котлеты  
исполняет заветы минздрава —

а бывает что и на того  
кто живёт как спичка  
чиркающая непрерывно  
о сырой коробок — не в силах вспыхнуть —  
настигает она и его  
слава

нападает — да — как насильник  
валит на пол  
сдирает трусы  
что-то быстрое и мокрое шепчет в ухо  
а потом оставляет  
уходит  
и жужжит забившись в часы  
муха

сгоревшие спички  
угасающие лучи  
остатки ужина и горькой приправы  
и в соседней комнате  
кто-то  
по-детски кричит  
*браво!*

*Александр Гриневский*

## Кондратьев и Лёля

*Роман*

*Россия. 1996*

<i>Январь.</i>	Захват боевиками Салмана Радиева больницы в Кизляре. 3700 человек взяты в заложники.
<i>Март.</i>	Сбор подписей для выдвижения Бориса Ельцина на второй срок. МВФ выделил России самый большой кредит в истории — 6.9 млрд долларов.
<i>Апрель.</i>	Чечня. 245-й мотострелковый полк попадает в засаду. 53 погибших.
<i>Июнь.</i>	Москва. В вагоне метро на станции «Тульская» произошёл взрыв. Выборы Президента России.
<i>Июль.</i>	Борис Ельцин избран Президентом России.
<i>Август.</i>	Операция «Джихад» — боевики Масхадова захватили г. Грозный. Хасавюртовское соглашение. Приведён в исполнение последний смертный приговор.
<i>Сентябрь.</i>	Начался вывод войск из Чечни.
<i>Ноябрь.</i>	Взрыв девятиэтажного жилого дома в Каспийске. 67 погибших.

### Глава 1

#### *Кондратьев*

В дверь подъезда — плечом, сильно, так, что отдалось...

Вот он я, Мир! Принимай!

Мир предстал в виде голых кустов за низенькой железной оградкой, тянущих в стороны корявые ветки, сидящей на асфальте кошки и вереницы машин, припаркованных вдоль проезжей части. Серым был Мир: осенне-бесснежным.

Мне тридцать девять. Отягощён женой и ребенком.

---

*Гриневский Александр Олегович* — прозаик. Геолог, преподаватель МГУ им. М.В.Ломоносова. Автор книг: «Зыбкость» (2008), «Истории с приставкой “гео”» (2012), «Ненужные» (2016). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — авантюрный роман «Кыш, пернатые!» (2020, № 7).

Кошка — чёрная с белым.

Два шага — быстро. Не думать. Не смотреть по сторонам.

Ногой, с оттягом!

Кошка перелетела ограду, отделявшую кусты, распласталась в воздухе, перекрутилась телом и приземлилась на лапы. На секунду замерла, сжавшись в комок, и метнулась сквозь кусты к цоколю дома, вдоль него, и исчезла.

Только сейчас выдохнул. Что чувствую? Что чувствовал?

Всё-таки сделал, как хотел. Гадливость... к кошке? к себе? Нет... это я сейчас чувствую. А в момент удара? Оборвалось что-то. Пустота. И в этой пустоте — точка ярости. И... заполнение пустоты, будто клапаны открыли — всё могу!

Только сейчас огляделся. Никого рядом. В стороне, по тротуару шли люди. Кто? Какая разница? А если бы стоял кто-то возле подъезда — ударил бы? Если бы соседи?

А ведь тебе кошку жалко... Ну и что? Жалко. Но хотел же попробовать? Хотел что-то почувствовать? Почувствовал? Да!

Если бы ты, как обычно, вышел из дома, погладил мимоходом, ведь ничего бы не почувствовал? А сейчас? Смотри, ты до сих пор тяжело дышишь, словно стометровку пробежал.

С этой кошкой — интересно...

### *Кошка*

Кошка появилась года два назад.

Красавица пушистая. Сразу видно, что домашняя: не шарахается, не убегает, испуганно распластавшись животом по земле. Усядется на спинку лавочки возле подъезда — хозяйка! Все с ней разговаривают, гладят. Марина — жена — её «королевишной» называла.

Почему наш подъезд облюбовала — загадка. Уже и подкармливать начали. На этажах, на лестнице — блюдечки с кормом и молоком выставлять. Потом выяснилось, что у кошки есть хозяева. Живут в соседнем подъезде на первом этаже, окно всё время открыто — вот она сутками и гуляет.

В один прекрасный день её постригли. Голова — как чёрный шарик с белыми пятнами, лапки в мохнатых унтах-сапожках, кисточка пушистая на кончике хвоста, а тельце выбрито до голой кожи. Сидит на спинке лавочки, ну как тут пройдёшь мимо? Весь дом соплями изошёл от умиления.

И тут-то и открылось, что не кошка это, а кот! Вовсе не «королевишна», а Феликс — такая же кличка, как у того котяры из рекламы.

Мне по барабану — кот или кошка. Другое задело. Не захотел народ признать реальность: для большинства соседей Феликс так и остался милой кошечкой, которую можно погладить, шейку почесать. Смотрю я на этого кота — всеобщего любимца-любимицу — и думаю: «Хорошо устроился, собака! Нашёл применение своей смазливой морде: и ласка со всех сторон, и пожрать всегда...» А где-то внутри понимаю, что похожи мы с ним чем-то. Я ведь тоже всех обманываю, стараюсь казаться не тем, кто есть на самом деле. Ладно, пускай и для меня кошкой остаётся...

Капюшон поверх шапочки — и побежали. Давай, втягивай воздух лёгкими, отпихивайся от асфальта. Утренняя пробежка — вот что заряжает на целый день. Профессиональные спортсмены — идиоты. Положить жизнь, чтобы развить в себе единственный навык управлять телом так, как другие не могут? Бред. Зачем?

Да чтоб тебя! Растопырилась со своей клюкой на всю дорожку, не оббежать.

Надо просто чувствовать тело, как сокращаются мышцы, как учащается дыхание и выступает пот на коже. Заставить тело поработать, чтобы потом, стоя под душем, ощутить себя целиком — плечом пошевелить и чувствовать, как напрягаются мышцы, словно волна под кожей прокатывается. Хорошо... Всего лишь требуется обрести гармонию между умом и телом.

Ладно, проехали. Вдох-выдох. Мимо магазина. Блин! Ещё не рассвело толком, а синюшные уже возле входа толкуются. Помрут, если не опохмелятся. Ненавижу алкашей! Моя бы воля — расстреливал бы без малейшего сомнения. К стенке этих сук и из пулемёта.

Теперь в проход между гаражами. А-а-а! Грязища какая! Кроссовки опять муть придётся. Здесь — шагом — не разбежишься. Пути железнодорожные. Налево-направо посмотреть, капюшон с головы скинуть, а то поездом сметёт.

Вот он — лес. Осенний, неухоженный, пустой. Листва осклизлая под ногами. Банки пивные, пакеты полусасыпанные — выглядывают. Всё равно хорошо. Свежо и сыро. Дышится легко. Ну-ка, боксёрскую двоечку! Подбородок к груди, правой-левой, раз-два. Ветви у берёз чёрные, голые, капельки повисли. Промокли, бедные, насквозь. Вот и поляна сквозь деревья уже видна. Ещё двоечку: раз-два.

### *Лес*

Лес я люблю. Там, где родился, он не такой — предгорье. Лезут деревья вверх по склону, кажется, до вершины хотят добраться. Не получается у них — голые стоят вершины. Да и какие это горы — так, холмы пологие с голыми макушками. Внизу, у самого подножья, речка течёт — мелкая, но широкая. Бурлит вода, облизывая камни, мокрыми горбами выпирающие посреди русла. Чистая, холодная, зачерпнёшь в ладонь напиться — зубы ломит.

Нет, здесь лес не такой... Какой-то он здесь старый, серый, голый. Может, потому что осень? Или потому что ёлок и сосен нет? Чернолесье. Берёзы да осины и ещё им подобные... Нет зелени, не радуется глаз. И молодняка нет. Зато светло и просторно среди отдельно стоящих стволов, что тянутся в серое дождливое небо. Тропинки не нужны — бреди куда хочешь, загребая ногами пожухлую листву, перешагивай через поваленные стволы. Я, когда Алиска родилась, часто сюда с ней ходил. Перетащишь коляску через железнодорожные пути (вот жена ругалась-то...), и кати, толкай её перед собой. Зато тихо — никого. Только птица порой вспорхнёт.

Блин! Денег же я с собой не взял! Обещал вчера Марине молока купить. Будет опять свои мюсли с утра замешивать. Как это жрать можно?

Возле железки пришлось ждать, пока пронесётся электричка. В Москву — набита под завязку.

Перешёл железнодорожные пути, оскальзываясь на крупном щебне.

Шпалы-то бетонные. Не то что у нас в посёлке — деревянные, грязно-чёрные, креозотом воняют. Ушлые мужики их воровали — на сараи, подсобки, а кто и бани строил. Они же вечные. Не гниют и не горят. А то, что воняют, так ко всему привыкнуть можно.

Между гаражами, по обломанным доскам, уложенным в грязи. А теперь снова бегом.

У подъезда кошка на спинке лавочки застыла чёрно-белым столбиком. Интересно, что будет?

Заметила, когда уже совсем близко подошёл. Спрыгнула. Замерла на мгновение, на асфальте распласталась, будто вжаться в него хочет, и метнулась в кусты, и дальше — вдоль цоколя дома.

Помнит, сучка! Или сучок...

### *Марина*

Марина — она умная. Я её уважаю. Не прошло и года после свадьбы, она меня раскусила. Сволочь, говорит, ты, Кондратьев. Какая же ты сволочь!

Уже беременна была...

И говорит проникновенно, слова растягивает, будто сама к ним прислушивается, на языке катает: «Сволочь ты, Кондратьев...»

Я не разубеждаю, только смеюсь в ответ. Раз понимает — хорошо. Меня это устраивает, да и её... раз живёт со мной до сих пор. Вот за то и уважаю, что понимает.

Да, нужна была! В Москве надо было остаться. Любым способом зацепиться. Слово себе дал: кроме Москвы — нигде больше жить не буду. Сейчас, правда, о загранице подумывать стал: свалить из этого грёбаного совка навсегда. Жить там хорошо, но вот деньги-то здесь делать надо. Время сейчас такое... Там — только копейки собирать.

Марина — она москвичка. Из хорошей семьи. Единственная дочь. Мама, папа — всё как у людей. Квартиру нам сразу двухкомнатную купили.

Ребёнок через год.

Зацепился за Москву. Остался.

Любовь? Какая, к чёрту, любовь? Живём вместе, и ей удобно, и мне.

Дверь подъезда распахнулась. Навстречу молодая девушка — на порыве, в движении. Алиска! Вся в меня.

Остановился, улыбаясь, стянул капюшон.

— Привет, пап.

— Привет, дочь. Опять опаздываешь?

— Ага, — на ходу чмокнула в щёку. — Пока. Побежала.

Смотрел вслед. Крупная, не в Марину, в меня пошла. Чуть толстовата. Вон какую задницу отрастила. А так ничего. Куртка приличная, джинсы в обlipку, рюкзачок. Только на хрена она всякие висюльки детские к рюкзачку привешивает? Марина оправдывает, говорит, ещё ребенок. Какой ребёнок? Скоро семнадцать. Я в её годы был голодный и злой. Общага. На одну стипендию разве проживёшь? За любую подработку хватался. Даже дворником. Джинсы мечтал хорошие купить. А эта — ухожена, папа, мама есть. Английский, музыкалка. Москва. Летом на море. Маринин ритуал: ребёнку нужно солнце и море.

Криво улыбнулся, вспомнив, как лет пять назад ездили на дачу к знакомым. Там речка рядом, пошли купаться. Алиска окунулась и закричала: «Мама, мама, здесь вода несолёная! Разве так бывает?»

### *Дом*

Дом как дом. Девятиэтажка панельная, таких в Москве сотни. Подъезд ухоженный, лифт новый с огромным зеркалом. Хороший дом, но не мой. Квартира не моя. Продать к чёрту!

Квартиру тесть подарил на свадьбу. На Марину записана. Как-то сразу почувствовал: дочку они обустроят. Я — так... потому что рядом прилепился. Радость показывал, благодарную улыбочку выжимал: что я, идиот, что ли? кто ж у дарёного коня зубы рассматривает? Спасибо, благодетели!

Молодой был, верил ещё во что-то... Рассказал Марине, какой вижу эту квартиру. Пустая, минимум мебели, дневное освещение — яркое, светом всё заливающее, кровать — низкая, почти на полу стоит. Никаких шкафов, книг, безделушек. Ковролин с высоким ворсом, чтобы босиком ходить. Обои светлые. Не дослушала.

— Кондратьев, — говорит, — ты что, в офисе жить собрался? Тогда не со мной. Я и заткнулся.

Теперь у нас уют. Шкафы от вещей и от книг ломятся, картинки по стенам, обои в цветочек, бра над двухспальным супружеским ложем, жёлтым покрывалом застеленным. Не говоря уж про Алискину комнату — склад мягких игрушек.

И пыль — я чувствую её, — везде пыль.

Поднимался на шестой этаж по лестнице, стараясь не сбить дыхание.

Под душ. Пропотевшее скинул, потом на балконе развешу. Воду горячую включил — люблю, чтобы пар, чтобы зеркало запотевало. Бритва, пена для бритья — скребу щёки. Голый стою — тело своё чувствую. Хорошее тело, сорваться и бежать в любой момент готовое.

Столько лет прошло, а горячая вода всё чудом кажется. В любой момент включил, а она льётся. И экономить не надо — не кончится. Теперь зубную щётку в рот и контраст: холодная-горячая, холодная-горячая.

Зеркало запотело. Полотенцем. «Ну, здравствуй, Лёша!» Да... уже мужик... не пацан. Идёт время. Жирок поднакопился, живот наметился. Двигаться надо больше, иначе совсем заплыву... Что сутулишься? Развернул плечи, поиграл мускулами спины. И плечи какими-то покатыми стали. Роста бы добавить не мешало. Не красавец, одним словом. Приблизил лицо к зеркалу, взъерошил жидкие волосы — вот уже и залысины со лба пошли. У-у-у, морда рязанская! Круглая, как блин. Хорошо хоть не рябой... А вот взгляд злой, настороженный. Ну, это мы сейчас очочками поправим, уже проходили.

## *Посёлок*

Вдоль реки дома часто. А вверх по склону разбросаны реже. Дорога гравийная по самому берегу.

Посёлок длинно вдоль реки вытянут. Ближе к краю — площадь, где останавливаются автобусы. Две двухэтажные бетонные коробки. Здание партийного руководства и магазин с рестораном на втором этаже. Ленин на постаменте рукой в просвет между горами тычет. Остальные дома — деревянные развалюхи — утопают в снегу, лишь тропинки от калитки к дверям протоптаны. Ещё котельная — приземистый кирпичный сарай с торчащей трубой и грудой угля у входа. В баню — в соседний город, два часа на автобусе. В котельной есть душ, можно договориться, но после душа выходишь ещё грязнее — весь в угольной пыли.

Время делилось на тепло и холод. В школу осенью пошёл — начался холод; кончился учебный год — тепло пришло, лето наступило — согрелись. Вечный насморк, зелёная сопля под носом. Зимы не такие и холодные — не Сибирь, даже не

средняя полоса. В жизненном укладе всё дело было, в привычке, а может, и в повальной бедности — это я уже потом понял.

Дома хлипкие, из доски сколочены. Окна однорамные. Такие домики в Подмоскovie летними называют. Тепло из них выдувается на раз. Печку топишь — тепло, протопил — через час — холод собачий. Мать, пока пить не начала, печку на автомате топила. Утром и вечером. Даже если жрать нечего было.

Зимой не раздевались, спали в одежде, в шапках. У меня круглая была, коричневая, меховая, на боку проплешина — на печке подпалили. До сих пор тесёмки, туго завязанные под подбородком, чувствую.

Мать первая вставала. Выбиралась из-под груды тряпья, охая растапливала печь. Я сразу просыпался, лежал, ждал, когда разгорится. Потом грелся возле открытой дверцы, пока мать не гнала умываться. Вода еле тёплая в ковшике. Пальцы намочишь — и по глазам: умылся. Хлеб с вареньем, чай. Ранец — и на улицу, на холод. Хлопнула за спиной дверь, заскрипел снег под ногами, а сам ещё пахнешь теплом и дымом. Идёшь, оскальзываясь по дороге, темно, тихо, снег не белым, а серым кажется, тени длинные от заборов, дымы из труб в чёрное небо, испещрённое звёздами, и только окна в домах весёлым светом.

Лес кругом, а дров вечно не хватало. Мы, ребяташки малые, щепки собирали, домой несли. Хоть чуть-чуть тепла добавить. Возвращаешься из школы — дорога ледяным накатом блестит, камушки чёрные из-под ледяной корки выглядят, речка шумит, она зимой не замерзала, и по сторонам глазами шарить: щепка, палка, вмёрзшая в снег, — всё сгодится. Самой лихостью у нас, у малолеток, было пяток полешек у кого-нибудь из поленницы спереть и домой притащить.

Марина вошла на кухню, когда я хлеб для бутербродов резал. Причёсана, улыбчива. Клетчатые красно-зелёные домашние шорты с бахромой, майка с глубоким вырезом — ложбинка видна между чуть провисших грудей.

Но я-то знаю... помню. Я на неё сейчас по-другому смотрю. Вчера она сразу заснула, а я маялся — не спалось. Ночник зажёл, книжку, что мне Лёля подсунула, взял. Читаю, разобраться пытаюсь в этих психологических премудростях. На жену случайно глянул — Господи! она же мёртвая! Умерла? Лежит на спине. Лицо белое, чуть в желтизну. Кожа натянута. Глазные яблоки под веками — буграми. Рот приоткрыт, и губы — розовые гусеницы — в рот заползти пытаются. Я долго рассматривал... Чужая она. Почему я должен с ней рядом лежать?

Стараюсь в этой утренней Марине ту, ночную, разглядеть. Не получается. Спряталась мёртвая за живой...

— Кондратьев, — говорит, на меня не смотрит, в окно глядит, будто что интересное видит. За окном серость. В этой серости берёза голые ветви развесила. — Может, нам пора прекратить эти ночные игрища?

— Что это вдруг? Тебе вчера не понравилось?

Она последнее время всё чаще эту бодягу заводит. Сейчас злиться начнёт. Меня не прошибить. Сижу, посмеиваюсь.

Колбасу нарезал, на хлеб положил. Завтрак: чай, один с сыром, два с колбасой.

Марина повернулась, смотрит, как я жую с набитым ртом и чай прихлёбываю. Губы поджала. Как же она меня ненавидит, когда ем! За все годы привыкнуть не смогла.

— Понимаешь, Кондратьев... — оперлась о подоконник. — Наши постельные игры мне всё больше физкультуру напоминают. Для тебя это вроде как пробежка перед сном.



— А что, — говорю, — в спорте плохого? Спорт — это великая сила.

— Спорт-то да... Вот только постель к спорту не имеет никакого отношения.

Решил отмолчаться. Стою у раковины, посуду мою. На работу пора, а тут эти тёрки никчёмные. Я-то для себя давно всё решил. Ей кажется, что она выше, культурнее, образованнее, поэтому что-то решить сама может. А вот хрен тебе по всей роже — я буду определять, как тебе жить дальше.

— Заведи на стороне какую-нибудь бабу. Вот с ней спортом и занимайся.

Ведь умная же. Зарабатывать умеет. Подать себя может. Уже под сороковник, а вон как выглядит! Что же из неё это бабское прёт?

— Кондратьев, слышишь? Или я со стенкой разговариваю?

Я же знаю, что это только слова. Только дёрнись в сторону, такое получишь! В самой женской сущности заложено — поковырять, разбередить, чтобы набежали, приласкали, уверили, что ты единственная и лучшая. И никакая логика здесь не работает. Всё стирает это желание.

— Я тебя услышал. — А что ещё сказать? — Но зря ты так...

На меня не смотрит, в окно глядит.

Ну и ладно, думаю, может, ПМС у неё?

### *Женщины*

Не складывается у меня с ними. Не понимаю — что там интересного? Любовь напридумывали... Может, она, конечно, и есть — не отрицаю. Но вот только я её не чувствую. По мне, так любовь — временный сбой системы, разжижение мозгов.

Нет, я придерживаюсь традиционных правил. Тут всё ясно, могу объяснить. Выбрал женщину — твоё! Ухаживай, береги — твоя! Рожайте детей — физиологическая совместимость заложена природой. Детей поднять и воспитать надо, чтобы по жизни не мыкались. Выполнили природную обязанность, удобно жить вместе — живите, нет — разойдитесь спокойно. В этом процессе присутствует логика.

Я не понимаю любовную дёрганку, эти метания-страдания. Женился, а через три года встретил смазливую бабёнку — и переклинило. Страсти шекспировские, заламывание рук, бессонные ночи, сопли и слёзы. Съёмные квартиры, трах по углам, вечное враньё. Семья — побоку, всё разваливается. Скандал на скандале. Дети заброшены.

Допустим, вырвался. Женился на этой, новой. И раз — года не прошло, она на сторону ходить стала. Теперь у неё любовь, а у тебя только ненависть и ревность. Дальше? А дальше — всё снова: страдания, поиск, влюблённость, обладание. Замкнутый круг.

Ну и зачем?

Слякотно на улице, серо. Спины чёрные. Обгоняешь, а новые впереди. Почему наш народ так любит чёрное?

Маршрутка до метро. Битком. В проходе, согнувшись в три погибели. Хорошо, что хоть подошла быстро. Ехать две остановки. На лица лучше не смотреть — каменные лица.

Месиво у входа в метро. Ещё не давка, но уже вот-вот... Просочился и стекаешь вместе со всеми по эскалатору, словно в воронку засосало. В вагоне светло. Качает. Ехать двадцать пять минут. Я люблю это время. Передышка. Думать можно о чём угодно. Ты один. Люди вокруг, а один. Модель общества: вроде все вместе — куда-то вперёд, а на самом деле, каждый сам за себя и на месте. В метро особенно чувствуешь

*Ефим Бершин*

## Больные времена

\* \* \*

Безлюдный храм. Чистилище любви.  
Слепое время движется по кругу.  
Ни отзвука — кого ни позови.  
Одни иконы молятся друг другу.

Бессонница. Распутица. Распад.  
Тускнеет солнце, как печатный пряник.  
Казалось, кто-то заново распят,  
но намертво. И больше не воспрянет.

Бессонница. Гражданская война.  
Иконы молят прямо из-под кисти  
переписать больные времена  
на языки потусторонних истин

и поменять местами берега,  
пройдя сквозь боль, врачуемую болью,  
сойти с ума, влюбить в себя врага  
и не убить.  
Или убить любовью.

\* \* \*

В осеннем небе даже птицы спят.  
И как во сне крадутся тропы лисьи.  
Мир не допет. И сумрачно стоят  
кресты деревьев на погосте листьев.

Я сам живу, как недопетый стих.  
И ветка, словно кисть иконописца,  
рисует лики будущих святых  
на облаке.  
Но как же сладко спится,

---

*Бершин Ефим Львович* — поэт, прозаик, публицист. Родился в Тирасполе в 1951 году. Автор шести книг стихов, двух романов и документальной повести «Дикое поле». Лауреат премии «ДН». Наш постоянный автор. Живёт в Москве.

когда нисколько не обременён  
ни словом, ни веселием Содома,  
под шум дождя, на паузе времён,  
иконой на стене ночного дома.

Я эту осень всю перелистал —  
свод жития, давно лишённый веры.  
Ко мне сегодня ворон прилетал.  
Но без олив.  
И я захлопнул двери.

\* \* \*

На это лето не хватает строк.  
Раскисший, словно яблоко в компоте,  
я сам — острог, упрятанный в острог  
июльской ночи и бездушной плоти.

На это лето не хватает слов  
так, как молитвы не хватает храму.  
Всё замерло. Лишь тень колоколов  
озвучивает эту панораму,

где месяц, словно шелудивый кот,  
на чёрном небосклоне неуместен,  
когда идёт две тыщи мёртвый год.  
Или ползёт. Или стоит на месте.

Где душный ветер носит по полям,  
по улицам, по придорожным ямам  
и ненависть с любовью пополам,  
и чудеса в угаре полупьяном,

где клочья ночи в воздухе дрожат,  
как студень на растрескавшемся блюде,  
где всё ещё свободой дорожат  
ночные люди.

Они зовут: огня сюда, огня,  
грозя сойтись в нечеловечьей сшибке.  
И кажется, что больше нет меня —  
я человеком сделан по ошибке.

Они кричат: распни его, распни,  
нисколько не заботясь о расплате.  
И вечный бой. И вечные огни.  
И вечно продолжается Распятье.

\* \* \*

Незаконное время неспешно диктует закон.  
Незаконные птицы, крича, замерзают в полёте.  
И сочится из стен диктатура застывших икон.  
Диктатура любви. Диктатура измученной плоти.

Как же слово болит! Будто где-то распяли словарь.  
Будто вдруг оживают давно позабытые даты.  
И с казённых столбов верещит электронная тварь,  
и мигает в ночи — электронных времён соглядатай.

Никуда не уйти. И не скрыться под маской ночей,  
где, сменив оперенье, летят молчаливые дрофы.  
Выхожу на парад. Впереди семенит казначей,  
как воскресший гонец из зарытой в песках Кериофы.

Проступают иконы из жизни и веры иной.  
Расступается море. И мы с тобой лишь опечатки  
в этой книге времён.  
Набегает волна за волной,  
поглощая песок.  
И кричат незаконные чайки.

\* \* \*

Что если он хотя б на миг  
со стоном усомнился в Сущем, —  
увидев только этот мир  
в его обличье сучьем,

и в том, что путь меж двух миров  
нет, не триумфом, не парадом  
лежит, а между двух воров,  
висящих рядом.

Но эта боль, и этот стон,  
и ужас — ничего не значат.  
И будет так, как хочет Он,  
а не иначе.

И медленно проступит свет  
сквозь ливень и порывы ветра  
из мира, где и мира нет,  
где Бога нет и смерти нет,  
но есть любовь и вера.

\* \* \*

Спохватились, побежали, было поздно.  
Было постно на душе. Было пусто.  
На заплёванном перроне сели в поезд  
опоздавший, неуютный, непопутный.

Этот поезд спотыкался на стыках,  
отдавался в лесах гулким эхом.  
Этот поезд был вчерашним. Было стыдно  
на вчерашнем поезде ехать.

И швыряло нас от стенки — до стенки.  
Что ж, бывает. Да и выпить не вредно.  
Вот и стрелочница. Двигает стрелки,  
не заметив, что закончилось время.

*Пётр Воротынец*

## Заведение

*Повесть*

*Памяти Вадима Моисеевича Гавского, великого учителя и вдохновителя*

*Автор выражает огромную благодарность Валерии Пустовой за неоценимую творческую помощь и поддержку*

Итак, вы здесь сейчас увидите,  
Как люди друг друга любят,  
И злобы жестокой деяния,  
И страдания наши, и крики ярости,  
И смех безжалостный!  
Позвольте ж просить вас позабыть на время,  
Что пред вами комедианты,  
В души наши вы загляните,  
И что мы люди тоже вас помнить прошу я,  
Что подобно всем на земле живём мы,  
И любим, и страдаем!  
Мысль пьесы сказал я,  
Теперь судите, как она развита.  
Итак, мы начинаем.

*Руджеро Леонкавалло. «Паяцы». Пролог*

### *Presto*

*22.11.2017*

Вообще-то я певец. Более того — я оперный певец. То есть, по идее, я носитель высокой культуры. Моя профессия призвана пробуждать благородные порывы в душах людей и преображать мир.

У меня несомненно есть сценический дар. Я надеваю фрак, лакированные ботинки, бордовую бабочку и вырезаю пробор. В этот момент я хорош. Жаль вот только, выступаю нечасто. Ну уж ежели выступаю, то бесподобно! В основном в Домах культуры и школах. На престижные площадки меня не зовут. Пока. Но ничего, ничего... Всё ещё будет. Следите за афишами столицы.

---

*Пётр Воротынец* — писатель, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и театра историко-филологического факультета РГГУ. Автор книг «Чешский смех» (2018, «Геликон Плюс»), «Джоджо Стрелер. Музыкальность как принцип режиссуры» (2012, Lap Lambert Academic Publishing), «На сцене: история театра» (2020, «Пешком в историю»). Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Однажды в мебельном магазине мне дали скидку за голос. А сколько стоит этот комод? На слове *комод* голос я понизил до гудения. *Ко-мод*. Продавец тут и говорит: «У Вас такой чарующий голос, что я даю Вам скидку». А я его на концерт пригласил, в ДК Железнодорожников.

Вы, наверное, хотите знать, кто я такой, как меня зовут, как стал певцом, как развивалась моя так называемая карьера. Всё произошло неожиданно, внезапно, как удар литавры в симфонии Гайдна № 94 (она же «Сюрприз»).

С чего бы начать? Зовут меня Алексей Широков, мне двадцать пять. Семья и друзья называют меня на английский манер — Алекс. Заграничный колорит в имени преисполняет меня чувством собственной уникальности. И сценический псевдоним мне не требуется. Достаточно написать «Поёт Алекс Широков», и люди заинтересуются.

Да... сегодня умер человек, которого я любил и которым восхищался. Не стало Дмитрия Хворостовского. Я его никогда не видел, но любил как родного. В понедельник похороны.

13.02.2010

А в тот день тоже хоронили. Пышно, громко, с музыкой. У здания № 13 на Большой Никитской стояла толпа, тянувшаяся до Моховой. Несмотря на февральский мороз никто не уходил, не бросал очередь. Люди стояли, слипшись друг с другом, как конфеты в кульке. Я и не знал, кого хоронили. На Никитской я оказался случайно, просто шёл мимо, в тот день у меня был выходной. Служил я курьером в одной конторе (её уже нет, разорилась) по графику два через два. Меня с детства тянуло к большим сборищам, монументальным очередям и пышным погребальным обрядам. Вот и эти похороны меня заинтриговали. Я купил букет гвоздик и встал. Через полчаса я уже добрался до входа в Консерваторию.

Каждого усердно проверяла охрана. Видимо, ожидался приезд Самого или кого-то из его приспешников. На широкой лестнице, ведущей к Большому залу, были расставлены портреты, с которых глядело громоздкое, но красивое женское лицо. Под портретом подпись: *Ирина Константиновна Архипова (02.01.1925—11.02.2010)*. Я смекнул, что хоронят важную советскую примадонну. Вообще я впервые попал в Консерваторию. Откуда-то сверху доносилась музыка, голос пел что-то классическое и высокое. Ещё через двадцать минут я вошёл в Большой зал. Портреты наверху глядели на меня серьёзно, почти грозно. Особенно недружелюбно — Бетховен, его портрет был мне известен, в классе музыки в школе висел такой же. На сцене стоял гроб, в гробе том лежала монументальная пожилая дама с огромной грудью, которую украшали бриллианты. Даже из зала я видел, что на округлом оперном лице у неё родинка величиной с орешек. Родинка притягивала взор и волновала. Я поднялся на сцену по боковой лестнице, аккуратно и беззвучно положил букет, бросил взгляд на царственно-печальное лицо покинувшей мир женщины и прошёл дальше.

Уже на выходе из зала кто-то любовно подтолкнул меня ладонью в спину. Я повернулся и увидел свою бабушку. Господи, и она на прощании, вот совсем я был не настроен ей что-то объяснять. Как, зачем, почему оказался в Консерватории. Бабушка смотрела на меня с удивлённым умилением и уже было открыла рот, чтобы поздороваться. Но я рванул. Я побежал прочь, расталкивая скорбящих, у одной благообразной дамы выбил венок, она взвизгнула и заплакала от досады. Я извинился и поспешил покинуть здание. К метро, скорее к метро! Скрыться, спрятаться от бабушки в подземке!

14.02.2010

В полдень меня разбудил накапывающий как прибой звонок нокии.

— Да, алё, — мрачно прогудел я.

— Алекс, привет, можешь говорить? Я еду, буду часа через три, — мама возвращалась из короткой туристической поездки по Золотому кольцу, — сувениров набрала. К ужину что-нибудь купить? Да ты спишь, что ли? — строго спросила мама.

— Да, сплю.

— Отпуск у меня, а ты должен быть на работе. Такая у тебя работа, сам выбрал, поэтому будь добр и в воскресенье вкалывай. Ты почему не на работе, спрашиваю?

— Не знаю, не хочу туда. Неинтересно там.

На работу я и не вернулся в итоге. Трудовую мне привёз через неделю курьер, нанятый вместо меня.

— Эх, Алекс... Не учишься, не работаешь толком, вот загребут тебя в армию, поплачешь ещё, там тебе мозги вправят, отмазывать тебя не буду, предупреждаю, — мама бросила трубку и, похоже, заплакала где-то далеко, за гранью секундной физической досягаемости.

Я встал, умылся и вышел на кухню. Там сидела бабушка и разгадывала кроссворды. Она решала кроссворды, полагая, будто это избавит её от Альцгеймера. Чёрта с два! У нас это генетическое, передаётся по наследству.

— Ба, привет!

Бабушка оторвалась от мира чёрно-белых кроссвордов.

— Алекс, ты что вчера на похоронах делал? Неужто, наконец, оперу полюбил?

— Да не... Случайно попал.

— Случайно? Нет, случайно на похороны оперных певиц не попадают, это определённо знак! Мне всегда казалось, что ты будешь артистом. Ты когда родился, мне сон приснился, что внук будет оперным певцом! Сон не забылся, я отчётливо его помню, — бабушка предалась зачаровывающим воспоминаниям. — Ты стоишь на сцене, в галстук-бабочке, и поёшь «Я вас люблю, люблю безмерно. Без вас не мыслю дня прожить». Ты был удивительно хорош во сне, из тебя выйдет идеальный лирический баритон. Ты заканчиваешь арию, оркестр тает, из зала летят цветы, ты держишь благородное спокойствие, хотя тебе очень приятно и хочется улыбаться... Твоё время пришло, Алекс! — патетически воскликнула бабушка. — У тебя же отличный голос. Ну-ка крикни.

— Ба, зачем это?

— Крикни, я сказала, крикни «ааа».

Я орнул. Люстра завибрировала.

— Во какой голосина! А какой тембр, — слышишь изумрудные переливы в тембре?

Я крикнул ещё. Да, что-то в моём голосе было. Звук тёк легко, приятно шекотал грудь.

— Я же говорила тебе много раз, что у тебя великолепный голос, а ты игнорировал мои просьбы учиться музыке, дурью маялся, зарывал талант в землю. А это грех! Мама тебя всё жалела, думала, что перенапряжёшься в музыкальной школе. Ну ладно, наверстаем ещё. Есть у меня идея... В Гнесинку и Консерваторию тебя, ясное дело, без должной подготовки не возьмут, но можно в одно местечко податься, уж туда-то ты поступишь. Значит, так, — она любила делать всё быстро, — у меня есть педагог. Я ей позвоню. Вот прямо сейчас и позвоню.

Бабушка взяла блокнот, где от руки были записаны номера телефонов, и пролистая его до нужной страницы.

— Вот, Влада Алексеевна. Набираю. Диктуй, — бабушка передала мне раскрытый блокнот. Я кое-как подхватил записную книжку, попутно помяв уголок страницы с телефоном Влады Алексеевны.

Я диктовал цифры, прислушиваясь к голосу. Голос звучал. Точнее, я теперь знал, благодаря бабушке, что у меня хорошо звучит голос. Он будто вынырнул из глубин и обосновался в глотке.

В принципе, мне было всё равно: таскать документы по Москве или горланить песенки. На момент этого странного происшествия мне было восемнадцать лет и жил я с бабушкой и мамой. Пролетев с инженерным институтом, пошёл работать. В течение года надо было себя занимать чем-то ещё, помимо вялой подготовки к повторному поступлению. Я спокойно жил в условиях полупраздности, и тарелка супа всегда ждала меня дома.

Оперу я никогда не любил, точнее, не был знаком с этим чудом света, учился ни шатко ни валко, искусством не интересовался. Зато бабушка ходила на все премьеры и значимые концерты в Москве. В Большом академическом театре России её как родную, приветствовали капельдинерши. Иногда она срывалась в Петербург (бабушка говорила «Ленинград», я не люблю это слово, оно отдаёт кровью и страданием) в Мариинку или же Михайловский театр. В день важной премьеры она принаряжалась, собирала не утратившие роскошь седые волосы в элегантный пучок, брала сменную обувь (бабушка семенила в туфлях до старости) и отправлялась в театр на такси.

Вечером на семейном совете договорились (по правде, всё решила бабушка), что отныне я посвящая себя только пению, готовлюсь к поступлению, а бабушка и мама будут меня содержать до тех пор, пока я не стану знаменитым певцом. Тем более зарплата моя и так не впечатляла, и хватало её на десять походов в «Пятёрочку» или три посещения «Азбуки вкуса».

— Проживём как-нибудь, без куска хлеба не останемся, — заключила бабушка. — А пока, вот тебе, — бабушка подошла к полке и сняла с неё диски с записями великих. Я пошёл к себе слушать диски. Опера так опера.

#### *Ночь с 14 на 15 февраля 2010 года*

Бабушка дала мне три диска. Все сольники: Образцовой, Атлантова и Хворостовского. Я поочерёдно вставлял диски в свой поцарапанный ноутбук. Прежде чем заиграть, CD бешено вращался, а компьютер кряхтел, выбрасывая пыль, чтобы через пять-семь секунд разразиться оркестровым вступлением. С каждого альбома я решил послушать по одной арии и лечь спать. Меня клонило в сон, я отбывал аудиальную повинность. Разделавшись с Атлантовым и Образцовой, я достал диск Хворостовского, в спешке обляпав сверкающую гладь. Моё внимание привлекла ария «Спит стрелецкое гнездо» из «Хованщины» Мусоргского. Уж больно странное название оперы — «Хованщина», оно отдавало супом и капустой. И тут я пережил откровение. Баритон начал тихо-тихо: «Спит стрелецкое гнездо...» — затем через паузу с угрозой и разочарованием продолжил — «спи, русский люд», — и взорвался на словах — «ворог не дремлет». А «Господи» в середине арии он произнёс с такой усталостью, что мне стало жалко себя. Да и всех: маму, бабушку, директора фирмы, из которой я сбежал, даже шумного соседа и того стало жаль. Ария нарастала, приближалась к кульминации и, миновав пик, добралась до главных слов: «Ей, Господи, возмемляй грех мира, услышь меня:



*не дай Руси погибнуть от лихих наёмников!»* Последними аккордами оркестр поддержал напряжение, не испарившееся даже после конца арии. Диск перещёлкнулся на следующий трек, на протяжную тему Елецкого. Я остановил прослушивание и захлопнул ноутбук. Спать расхотелось. Подошёл к окну. Заиндевший спальный район застыл. Люди спали в уютных квартирках, чтобы утром встать на работу. Меня поманил магический мир сцены, софитов, цветов, грима и полных залов...

17.02.2010

Бабушка обо всём договорилась. Через два дня, обмотавшись шарфом, как почитаемый бабушкой Иван Семёнович Козловский, и нацепив старомодную ондатровую шапку, я отправился на первое занятие по академическому вокалу.

*Мишишишиши*, на полтона выше *мишишишиши*, ещё выше, ещё на полтона, давай ещё на полтона — нет пока рано, голосовые складки (*связки* — говорят дилетанты) устали. Мягко спускаемся вниз. Потом распевка на *ма, мо, му*. Тренируем легато и стаккато. Мычим, чтобы разогреть резонаторы.

К педагогу, Владе Алексеевне, внучке великого баритона Большого театра, я сразу же почувствовал симпатию. Она служила в детском театре Сац. Её не смущало, что в одном из спектаклей она поёт партию Бутерброда. Меня Влада Алексеевна полюбила, скорее всего, за то, что я баритон. Как и её выдающийся дед. Ещё Влада Алексеевна уважала мою бабушку. Бабушка у меня Заслуженный акушер-гинеколог Российской Федерации, работала в крупной московской больнице.

Подготовку к поступлению Влада Алексеевна не форсировала. Первый месяц только вокализы, затем мы принялись разучивать старинные арии и романсы. В конце марта я даже попробовал «Фигаро» (Моцарта). Репертуар Влада Алексеевна подбирала аккуратно. По своей доброте она окрестила меня большим талантом и пристрастила к стрельниковской гимнастике. Теперь каждое утро я сгибаю локотки, устанавливаю их параллельно полу и делаю дыхательные упражнения. До головокружения! Количество вдохов должно быть кратно восьми! Шумный вдох носиком, сильнее, сильнее, нюхаем пол, нюхаем потолок, дышим, дышим! Не расслабляемся.

За пару месяцев я достиг уровня училища, азы сольфеджио Влада Алексеевна мне тоже объяснила. После идиотской работы курьером я отдыхал душой. В мае Влада Алексеевна посоветовала рискнуть и подать документы в Консерваторию. Намекнула, что поговорит с ректором... Но бабушка отсоветовала, сказала, что в Консе я могу сломаться. И пошёл я в Заведение. К слову, малознакомым людям я вру, что окончил Консерваторию или Гнесинку (произношу по-московски Гнэсинка), для солидности. А уж профессионалов не особенно-то и проведёшь, приходится сознаваться, что учился в Заведении.

Чтобы узнать, куда меня отправляет бабушка, я погуглил, что за вуз такой. На сайте написано, что это единственное место в мире, где творческими специальностями могут овладеть люди с различными нарушениями. Инвалиды, короче, если отбросить политкорректность. Но в тексте была ремарка, что и здоровые имеют право поступать. Ага, значит, берут всех. Далее я заглянул в раздел истории. Заведение возникло в начале 90-х на волне интереса к новаторским педагогическим теориям. Уже в 1998 Заведение обзавелось сайтом с первой в России версией для слабовидящих, всё прогрессивно! А в 2000-х там открылась аспирантура. Отличное место, благим делом люди занимаются! Четыре факультета: изобразительного искусства, театральный, музыкальный и звукорежиссёрский. Я перешёл к фоткам. Три этажа, типовое здание школы середины 50-х. На третьем художники, даже по

фотографиям чувствуется, какая там царит сосредоточенная тишина. На втором обитают музыканты и звуковики. На первом актёры. Больше всего фото на сайте посвящено гордости Заведения: театру глухонемых и его основательнице Алёне Бедной. Глухонемые актёры в чёрной монашеской одежде много выступают, ездят по миру и снимаются в кино. Размещены снимки с гастролей по Европе. В вузе есть смешанный оркестр. Набор инструментов в оркестре богатейший: три скрипки, литавры, две виолончели, четыре балалайки, три флейты, баян, две домбры, барабан и ситар.

Здание Заведения внесено в реестр культурного наследия города Москвы. Фасад вполне торжественный: четыре толстые, как ноги слона, колонны подпирают меланхоличную улыбку портика. Цвет сдержанный: тёмно-коричневый. Слева от входа пандус, как же иначе, специализированное место! Пандус вымощен бежевыми квадратиками плитки. Есть лифт, организована безбарьерная среда, пупырчатые надписи для незрячих и слабовидящих на стенах, профессиональные сурдопереводчики в штате... Всё по-серьёзному.

А в подвале столовая, есть фотографии и этого места. Столовой заведует Сюзанна Хачатурян. Вот как, и работников столовой не забыли, трогательно.

К июлю я подготовил полноценную вокальную программу для поступления: арию Фигаро *Non più andrai*, старинную арию и романс Свиридова. Про запас у меня ещё были серенада Дон Жуана Чайковского и «Дубинушка», считающаяся народной. Голос собрался и приятно ударял бархатными кулачками по резонаторам.

15.07.2010

Москву щипал дым. Белёлая дрянь опустилась на столицу тем засушливым летом. А надо было петь, и петь хорошо.

От метро до Заведения метров сто. В погожий день хорошо пройти, прогуляться и продышаться перед занятием вокалом. Но тогда, в день экзамена, я с трудом пробирался сквозь плотный терпкий туман. Видно было метра на два вперёд. Тени людей сновали в плотных, облегающих масках, чтобы злой воздух не проник в лёгкие. В маске было неудобно, она перегревала рот и щёки, но делать было нечего. Я шёл, отбивая такты арии Фигаро, пока не понял, что заблудился. Голова загудела от алого прилива паники. Я опаздываю!

Я ускорился, расталкивая дым локтями, но торопливый шаг мой резко оборвал голос, истошный и парадоксально красивый для крика. Голос кричал отчаянно, сбиваясь на лёгкого, приятного «петуха», слов я не разбирал, но было ясно, что человек зовёт на помощь. Я пошёл на голос, тот звучал вроде бы близко, но странно глухо. Сделав несколько шагов, увидел широкий чёрный обод большого колеса, он рельефно прорисовывался в ядовитом тумане, спицы же колеса сливались с дымом. Я двинулся навстречу молочной дыре, извергавшей дым. Толстый человек сидел в коляске. Кто-то называет этот вид транспорта *кресло*. Но кресло — это нечто удобное, глубокое, мягкое, вельветовое и вальяжное. Сидя в нём, курят сигару, попивают виски со льдом и заключают многомиллионные сделки.

Левый глаз парня безбожно косил, но правый смотрел твёрдо и беспощадно. Торс полный, плотный, и не скажешь, что человек нездоров, если бы он просто сидел на стуле. А вот ноги худые, как веточки, безжизненные, сразу ясно, что в них отсутствует сила. Высохшие, тощие, не знающие движения, они завалились влево странным зигзагом. Ступни молодого человека почти соскальзывали с пыльных подножек.

— Вы как тут оказались? Помочь, может? — растерянно завёл я беседу.

---

*Денис Сорокотягин*

## Эссе вокруг театра

### *Et cetera*

Мне нужно петь о Москве, а не писать о ней текст. Петь, как вот эти ребята, сидящие на лавочках у театра *Et cetera*. Что они здесь делают? Ждут своей очереди прослушаться. На кону — желанное попадание в труппу театра, хоть какая-то стабильность после тепличных условий института. Они отходят в сторону парами или трио, суетно повторяют текст драматических отрывков. Они крутят в руках реквизит: швабры, вёдра, книги. Открывают и закрывают кофры с отглаженными костюмами. После песни Магомаева о Москве, вселяющей хоть какую-то надежду, они переходят на «Без шансов» Земфиры. Они готовы к любому исходу, впереди долгий рейд по театрам столицы. Эт сетера, эт сетера. Сегодня тебя без объяснений отфутболят, завтра тебе скажут: «Спасибо, достаточно» на второй минуте отрывка, когда ты даже не успел произнести первую реплику, а вот послезавтра тебя точно куда-нибудь возьмут. Но будет ли тебе это надо? Будет, будет! — отвечает восторженный желторотый выпускник. Когда расхочешь, тогда всё и будет, — говорю я со знанием дела. — У меня было так. Хотя при чём тут я?

Одним из первых театров, который ответил мне на резюме, был детский музыкальный театр «Экспромт». Близость театра к любимому «Современнику» и сама личность художественного руководителя — Людмилы Ивановой, которая к тому моменту, правда, почти не появлялась в театре, но оставалась его гарантом, — всё это окрыляло, и я шёл, скорее летел в «Экспромт» с большой надеждой. Там были нужны поющие мальчишки, и я должен был прийти впору. Помню, мы очень любезно поговорили с заведующей труппой и она попросила меня пройти на сцену. Оказавшись на подмостках, я сразу понял, что мне здесь не работать никогда. Фактура-дура мешает. Со своим немалым ростом я почти упёрся в потолок. Один лёгкий прыжок — и всё, второй этаж. Зав. труппой мгновенно погрузилась, а я с улыбкой, которую мне теперь уже не повторить, сказал, что готов играть на полусогнутых. Котов, зайцев, кузнечиков, да хоть куриную ножку в избушке Бабы-Яги. Я ужмусь, скукожусь, только возьмите. Зав. труппой ответила: «Мы вам перезвоним», и я ушёл и, конечно, очень ждал. Ждал ответа от «Экспромта», как и от других театров, в чьи двери я стучался и сбивал костяшки в кровь. В один театр, к моему большому удивлению, меня взяли,

---

*Сорокотягин Денис Андреевич* — актёр театра и кино, режиссёр, драматург, художественный руководитель «DAS-театра», педагог по актёрскому мастерству и вокалу. Родился в 1993 году в Екатеринбурге. Окончил Свердловский мужской хоровой колледж (пианист) и Екатеринбургский государственный театральный институт. Печатался в журналах: «Знамя», «Сибирские огни», «Новый мир» и других. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

но через месяц умер худрук, и все прежние счета обнулились. В другом театре я должен был завоевать сердца приёмной комиссии за три минуты и ни секундой больше. Они засекали время на секундомере, и, когда оно кончилось, сухо констатировали: «Прошли до-о-о-лгие три минуты, а вы нас, увы, не зацепили». А вы меня, увы, да. До сих пор помню.

Было ещё одно прослушивание в детском театрике, в подвале. Оно завершилось успешно, и я даже уместился на крошке-сцене. За то время, что я уже был в Москве, я приобрёл этот важный навык — ужиматься до нужных размеров. Худрук, почтенная дама, сказала как отрезала: «Трудовую на стол». Я испугался этой фразы, нарисовав в своей голове перспективы каторжной работы в том месте, в котором я не пожелаю работать и врагу. Так почему же я всё равно шёл туда и пробовал? Я заколебал худрука расспросами о количестве спектаклей в месяц, о ролях, которые мне светят, но не греют, о графике репетиций. В помещении театра ядрёно пахло кошачьей мочой, и диалог худрука и взыскательного молодого артиста приобретал садомазохистский характер. Наконец худрук оторвала палку от пола, указала мне на дверь и процедила:

— Достоевский, уходи отсюда.

— Почему Достоевский? — поспешил я уточнить. Вдруг она увидела во мне черты Алёши Карамазова, которого я так хотел сыграть, вдруг разглядела тот надлом и скрытую боль за всех живущих на земле?

— Потому что достал. Вот поэтому, — ответила худрук. Просто и доходчиво.

А, вот и ребята вернулись. Прослушались. Это быстро и небольно, как укол, вот только потом ноет. И к этому нельзя привыкнуть. Лица выпускников успокоились, стали настоящими, движения осмысленными, без прежней суеты и наигрыша. Вот жаль только, что песни больше не звучат, гитары повисли на сутулых плечах, без шанса и без варианта.

Сегодня Москва о тебе не вспомнила, отвернулась, не заметила твоего провала, а может быть, просто сделала вид, что не заметила. За это мы её и любим, мучительно, по-достоевски. За ту радость редких поцелуев, за то, что обещала перезвонить и всё тянет и тянет.

## *Мышь. Где?*

Разделять жизнь и сцену — мучительно трудно. «Мучительно» — это я взял от сцены, до предела выкрутив регуляторы. На деле от жизни остаётся одно «трудно». Но всё-таки эта грань проводима. Да, она иллюзорна, но где-то же она есть.

На сцене нельзя работать безоценочно. Почему нельзя? Можно. Если так велел режиссёр. Пропускать, ни бровью, ни зрачком, не реагировать на текст партнёра. Не оценивать, но в результате этого оценивать ещё сильнее и ярче. Отсутствие — это тоже оценка.

Моя оценка по актёрскому мастерству в конце первого курса была — «два», которая стремилась к «единице». Диагноз мастеров: тотальное безоценочное существование. А значит, и отсутствие веры в предлагаемые обстоятельства да и веры в выбранный путь.

Мне надо сделать титаническое усилие. «Титаническое» — беру от сцены. «Усилие» — от жизни. Мне надо поверить, что на сцене (на деле в учебной аудитории) моя однокурсница на моих глазах превращается из милой трогательной девочки в мышь, которая стащила со стола ролл. Мне нужно выйти из-за кулис. Но, прежде чем это сделать, мне надо поверить, что передо мной вовсе не кулисы из чёрной мятой плащовки, а самая настоящая деревянная дверь, ведущая на кухню. Так. Выйти из-за кулис, нет же, из дверей, подойти к столу. Нет, не к столу, а к двум чёрным кубам, которые стоят друг на друге. Но я должен представить, что передо мной крепко

сколоченный стол. Потом мне надо увидеть лежащие на столе роллы. Их должно быть семь, но я пока об этом не знаю. Нет, на самом деле это не роллы, а белые зефирки, купленные в автомате на первом этаже института, но сейчас это роллы, наверное, с рыбой. Нет, не наверное, — я должен точно знать, с какой они начинкой. Пусть будут с курицей. Выходя из-за кулис, я не догадываюсь, что один ролл утащила в свою нору мою однокурсница. То есть мышь: серая, злая, толстая мышь. Так мне нужно её представлять, до предела выкрутив все регуляторы.

Я выхожу из-за кулис, открываю воображаемую дверь, подхожу к кубам так же, как бы я подошёл к столу. Я очень хочу есть. Я пришёл на кухню, чтобы утолить голод. Это утро или ночь? Это день или вечер? Я не знаю, а должен, должен знать. Я голоден, это я знаю точно. Зефир, ролл — неважно. Есть, есть, есть. Мастерство проходит поздним вечером, и к этому времени мой желудок пуст. Я кладу в рот зефир. Кладу его так, будто он не зефир, а ролл. Ролл с курицей. Я растекаюсь в улыбке, мои глаза слезятся. Это оценка. Самая живая, потому что я ничего не играю. Я смог совершить переход. Из голода в жизни к голоду внутри сцены. Переход из одного состояния в другое. Я был голоден, а теперь нет. Один ролл за другим, — и голода как не бывало. Но вдруг всё должно поменяться. Нужна она. Оценка. Каким-то неведомым образом я должен понять, что одного ролла не хватает. Их было больше. Когда я положил их на стол, их было ровно семь. Но зритель этого не знает. Он смотрит этюд без предыстории, в глазах зрителя роллы уже лежат на столе. Заданная картинка. И их ровно семь. Но зритель не знает точного количества. По моей оценке он должен понять, что роллов стало меньше. Я забыл сказать, что роллы лежат на пластмассовой тарелке. Она невидима зрителям, но я-то её вижу, представляю. Главное, мне её представить. Но это сейчас неважно. Я должен увидеть, что роллов стало меньше. Ровно на один. Я должен задать себе вопрос: а кто же мог его взять? Я должен набросать в голове несколько вариантов. Но я живу один. Холостяк. Это мои предлагаемые обстоятельства. В квартире, кроме меня, никого. Тогда кто же воришка? Процесс, стремительный поиск вариантов рождает оценки, одну за другой. Как вспышки фотокамер. Ещё, ещё. Фиксация момента. Оценивай, не жалея себя, иначе твоя оценка по мастерству будет — «два», а может, и «единица».

Я вижу краем глаза свою однокурсницу, точнее, не её, а страшную, серую, толстую мышь, которая вылезла из своей норы (из-за кулис). Вылезла и поняла, что я заметил пропажу ролла. Мышь ухмыляется, она радуется своему успеху так, как может радоваться только мышь. Мне нужно увидеть её в чётко установленный режиссёрский момент. Он наступает ровно после того, как я уже съел два ролла и думаю взять третий. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Таков режиссёрский рисунок. Но, к своему стыду, как бы я ни старался, я вижу мышь раньше положенного срока. Признаться, я не вижу мышь. Я вижу переживающую однокурсницу, её чёрные лосины, вижу, как она трепещет перед своим выходом из норы, из-за кулис. Мне кажется, что ей должно быть легче, чем мне. Она выходит второй, а я первым. Хотя какая разница. Мы оба — двоечники. Считай не считай.

Я описал только первую минуту этюда. После того, как я и мышь, наконец, увидели друг друга, шла целая череда наших баталий и столкновений. Я гнался за мышью, она всякий раз оставляла меня с носом и удирала. Классический, хрестоматийный сюжет. Кульминация этюда — я стреляю в мышь из гранатомёта. Стул с лихвой заменил мне его. Главное, чтобы я увидел в этом ободранном школьном стуле — гранатомёт. Увидел, во всех боевых красках. Я был тогда так зол на свою актёрскую беспомощность, что стрелял в мышь как в последний раз. Это был самый живой, неподдельный момент.

Минута этюда вмещает в себя десяток оценок. Актёрское мастерство на первом курсе занимается молчанием и осторожным рождением слова. И молчание должно

быть органичным, таким, каким бывает в жизни. На втором курсе появится текст, за который я тут же схвачусь, как за верёвку, и постепенно, пыхтя, карабкаясь, выберусь из безоценочной бездны. В результате — сдам экзамен на «отлично». Это было мучительно трудно. «Мучительно» беру от сцены (все мы мучаем её). От жизни возьму — «трудно». Да нет, ничего не возьму. Оставлю всё как было. И замету следы.

Пишу этот текст безоценочно. Без прицела, без умысла, без подтекста, без второго и пятого планов. Сейчас наступил такой период, когда хочется жить так, как пишешь. Ошибаться, искать, снова ошибаться и не бояться получить «двойку» в дневник. Честно, я не знаю, за что ставится «двойка», за что — «пятёрка». Не хочу оценивать. Не хочу подвергаться оценке. Но, как все, боюсь быть недооценённым.

Быть безоценочным в тексте, где есть только ты, его автор, его режиссёр. Ты ставишь простые с виду задачи: не оценивать, не бояться быть непонятым и не дочитанным до конца. А кому ты их ставишь? Где твой актёр? Нет его. Может быть, он за кулисами и ждёт своего выхода? А где кулисы? Нет их. А ты представь, представь, что актёр и кулисы есть. Не сдавайся. Сцена и жизнь неразделимы. Это мучительно трудно понять. Нет. Нет. Оставь. Без оценки.

Отсутствие — тоже оценка?

### *Малый Харитоньевский*

Я не земных законов, Боже,  
Ищу, а только Твой закон.  
Я, слабый и порочный тоже,  
В молитве пред Тобой склонён.

Ты, чья рука ведёт комету  
Сквозь синий холод высоты,  
Ты, подающий силу свету  
И солнцу, знай — повсюду Ты.

*Джордж Гордон Байрон*

Сняли квартиру в Малом Харитоньевском переулке. Прямо напротив загса под номером один. По-моему, это самый крутой загс в Москве, судя по тем маркам машин, которые паркуются, брачуются и уезжают, снова паркуются, брачуются, и так по кругу весь день.

Брак — тухлое слово, согласись. Гражданский брак — ещё хуже. Его сразу хочется списать в утиль. Нам это с тобой не грозит. Мы — другие, ненастоящие, от брака далёкие, отбракованные.

Загораем на балконе, пьём лимонад шприц апероль. Точнее, я пью, а ты работаешь. Такой лимонад продают в «Кофиксе». Хит этого аномально жаркого лета. И вот мы поспорили, можно ли сделать такой же лимонад в домашних условиях. Я сказал, что нет, и точно — нет. «Кофикс» — мой краш, и он непобедим.

Старик, в кофиксном лимонаде нет алкоголя, в твоём его больше, чем нужно. По крайней мере для сегодня — это явный перебор. Но я пью забракованный мною напиток и смотрю с балкона на свадебные парочки. Смотрю на платья, на костюмы. Ты стучишь что-то в ноутбуке. Дуешься на меня, что я не оценил твоих стараний. Старик, спор не проигран. Просто получилось что-то другое. Победителей нет. Просто ты привык побеждать.

А я пью это самое «другое», и мне от этого «другого» становится почему-то так грустно. Так грустно, что даже раздражает твоё перестукивание клавиш. Хотя со мной никогда такого не было.

Свадебные парочки сделаны все строго по ГОСТу. Идеальный брак. Свидетели пьют, смеются, краснеют. Заметил, что они почему-то всегда оставляют чуть-чуть жидкости на дне своих бутылок. У загса даже есть такой каменный выступ, где всегда стоят рядком полупустые бутылки. Старик, если у нас не будет денег на лимонад апероль шприц (120 р. в «Кофиксе», но может и их не быть), мы будем замешивать коктейли из того, что нам пошлёт загс. Смешно.

Старик? Ау? Не заметил, как ты ушёл с балкона. Я привык говорить вслух. Ты привык работать и параллельно слушать то, что я мелю без остановки. Но, видимо, не в этот раз. Или тебе просто стало жарко. Печёт.

Фотографы просят парочек принимать неестественные позы. В такую жару любая поза неестественна. Вот, например, сейчас. Невеста вжалась в столб. А над ней коршуном навис жених и тянется к её губам. Невеста думает о причёске, которая наверняка испорчена столбом. Плюс ко всему столб раскалён. И ей просто больно и неприятно. Но нужно сделать кадр. Запечатлеть момент! Чтобы потом показывать внукам. А надо ли это будет внукам? Я вот лично не видел ни одной свадебной фотки своих родителей. Наверное, это странно, но так.

Жених тянется к губам невесты, и видно, что боится промазать. Фотограф щёлкает, птички вылетают. «Ну всё, хватит. У меня нога затекла», — нервно говорит невеста и подбирает подол платья. Оказалось, нога. Не причёска, не столб. Нога. Интересно, сколько они будут вместе? Неужели всю жизнь? Или он ей изменит, и она будет обходить загс стороной. Или, наоборот, будет приходить сюда раз в месяц, вставать напротив и высматривать что-то в окнах. Мы недавно видели такую женщину. Пожилая, прилично одетая, видно, что не бедствует. Стояла напротив загса, шевелила губами, как будто читала отходную молитву по кому-то. А у самой лицо безучастное, отсутствующее. Так смотрят на кошку, сидящую на дереве. На чужую, конечно. Своя бы вызвала хоть какую-то эмпатию. А здесь — ноль, полный штиль. Кошка чужая, жизнь своя, но как будто чужая. Да ещё и радость вокруг тоже чужая. Гипербола во всём. В движениях, в улыбках, во взглядах, в голосе. Нога затекла. Хоть что-то живое и неподдельное. Пройдут годы, и эта девушка потом будет вспоминать эту ногу. Всякий раз, когда будет проходить по Малому Харитоньевскому, а она будет здесь проходить (не верьте, что нет), в ноге будет возникать болевой спазм. Интересно, меняются ли лица у брачующихся до совершения брака и после. Появляется ли что-то новое в глазах? Как бы проверить?

Я допил коктейль. Стал почти пьяный и сонный. Как растаявший лёд на дне бокала. Я могу выпить совсем немного и опьянеть.

Мне нравится смотреть на загс вечером. Когда здесь никого. Малый Харитоньевский становится не центральным пафосным переулком, а тихоней где-нибудь на окраине провинциального городка. Изредка пройдёт бродяжка, соберёт бутылки, выпьет остатки, смешает их в своём битом жизнью желудке и пойдёт спать на Чистые. Старик, ты здесь? Видимо, ушёл в дальнюю комнату и надел наушники. Но я всё равно скажу. Старик, нам надо переехать отсюда. И как можно скорее. А то я здесь сопьюсь, старик. Ты своими же руками меня сопьёшь... Давай переедем куда-нибудь подальше, за третье кольцо. Ну что тебе сдался этот центр? Я не могу каждый день выходить на балкон и смотреть на загс. Это насмешка над нами, старик. Жестокая насмешка.

Всё-таки твой коктейль удался на славу. Он развязал мне язык, и я, наконец, могу сказать всё то, о чём боялся... Старик, я сброшусь с балкона, клянусь. Сброшусь и останусь жив. Да. Плевать, что у нас второй этаж и я упаду на крышу какой-нибудь бэхи. Вот это будет свадьба у кого-то! И мы потом будем выплачивать штраф владельцу машины. Вот тогда-то мы точно переедем из этой дорогой квартиры куда-нибудь в Тропарёво. Да? Там ведь есть «Кофикс»?

Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли... Твоя детская мечта жить на Чистых. Мечта провинциала. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на век... дальше не помню. Старик, какие слова дальше? Поскорее бы зима. Завалить балкон хламом, запереть на ключ и не высовываться до весны. Пусть там брачуются сами по себе. Невесты кутаются в меховые манто, женихи отмораживают яйца. Фотографы щёлкают, птички-невелички-синички вылетают... Без нас.

Старик, у нас есть лёд? Нет? Закончился?

Старик, а зима будет? Нет? Тоже закончилась? А если найду?

Мне голову напекло. Наверное, у меня солнечный удар.

### *Самый лучший зоот*

Лето 2020-года. Живёшь себе живёшь, двигаешься по своей не прямой дороге, двигаешься как на ходулях, всякую минуту думаешь, что вот-вот упадёшь. Но, нет, стоишь, выстаиваешь, даже порой разгоняешься, забывая о том, что можешь «загнать под фанфары».

В тот июльский вечер, я тоже шёл на внутренних ходулях, делил жизнь на «до» и «после». Такие дни случаются, особенно летом, когда нет спектаклей и много свободного времени для рефлексии. Дни идут один за другим, и ты ждёшь, что новый день проведёт черту и превратит будущее — в «после», а прошлое — в «до» (здесь звучит долгая нота, обязательно в нижнем регистре).

Тот день был ровно таким. Он близился к своему завершению, на часах было 21:00. Я шёл мимо Белорусского вокзала. Весь день я молчал, не смыкал связи. Я люблю такие дни полного несмыкания. В такие дни ты смыкаешься и свыкаешься с собой сегодняшним. Я двигался домой. Но тут мне позвонила Елена Антоновна Камбурова. Мы две недели не созванивались. Мартовская премьера «Маленького принца» перенеслась, но нам нужно было поддерживать текст, чтобы он не забывался, как я люблю говорить в таких случаях, «взрыхлить его». И вот Елена Антоновна позвонила и сказала, что готова репетировать. Через десять минут. В зуме.

Честно сказать, я не готов был репетировать, я готов был идти домой, слушать в наушниках музыку, под которую как-нибудь худо-бедно завершу этот длинный летний день. Но через десять минут я сидел на лавке возле Белорусского вокзала, смотрел на экран, где бодрая Елена Антоновна с разбега впрыгивала в каждого персонажа «Принца», меняя голоса, внутренний ритм. Она не любит лишних слов, словесных прелюдий, затактов, ей дорога каждая секунда, нельзя позволить ни мгновения отсрочки. Мне хочется так же падать в материал, как Елена Антоновна. Нет, она не полагается на магию вдохновения, на божью искру. Нет. Такая лёгкость вхождения в материал, в верный градус, в определённый исторический контекст обусловлена масштабной внутренней работой. Проживанием, не смыканием голосовых связок, а смыканием души. Долгим, скрупулёзным, осмысленным.

Я слышу, как проезжают поезда. Я слышу, как парочка на скамейке рядом говорит о чём-то заветном, не боясь, что их кто-то услышит. Всё это — фон, второй, третий планы, а на первом — он/она, маленький принц, маленький человек с огромной душой ребёнка. «Когда мне было шесть лет, я нарисовала удивительную картинку...» — вдруг оговорила Елена Антоновна, и сама не заметила этого. Разве это оговорка? Ведь она нарисовала...

Вот в кадре появился Люсик — кот Елены Антоновны. Выдающийся кот. Сумел закрыть собой весь экран. «Люсик, не мешаай!» — глубоким басом говорит ему Елена Антоновна и отгоняет от экрана. Люсик продолжает выразительно, ползая по малым секундам, мяукать. «Люсик, хватит», — строго говорит ему хозяйка. Просит у меня прощения за паузу, потом увещевает Люсика покинуть комнату. Он неохотно, но всё



же её покидает, и мы продолжаем. «Есть такое твёрдое правило. Встал поутру, привёл себя в порядок, приведи в порядок свою планету», — говорит Елена Антоновна уже голосом пятилетнего ребёнка. Будто бы и не было того глубокого баса, этой паузы.

Поезда едут, парочка на лавке перестала доверять словам и перешла к поцелуям, планета вертится, и ты слышишь, как она тяжело вздыхает, глядя на нас, её жителей. Принц прощается с Розой и знает, что он больше никогда её не увидит, что это мгновение не повторится. У нас было несколько таких зоотовских репетиций, и каждый раз я не смотрел на экран, а закрывал глаза и слушал, слушал. Голос Елены Антоновны меняет тебя на клеточном уровне и делит жизнь на «до» и «после». Точнее, вытягивает тебя из «до» (здесь снова звучит долгая нота) и открывает для тебя новое «после». И в этом «после» тебе хочется, наконец, вынырнуть из своей раковины и взглянуть на мир вокруг. На людей, которые рядом — протяни руку, на людей, которые так далеко, что страшно и подумать. Но теперь они все здесь, там, где чуть-чуть больно... под зорким взглядом сердца.

Теперь же хочется сказать пару слов о Люсике — выдающемся коте. Хотя пары слов мало, мало. Месяц назад Елена Антоновна подарила мне компакт-диск с изображением своего кота. Название у диска краткое и запоминающееся — «Мур, мур». Это первый студийный альбом Люсика. Три минуты живого, импровизационного мурчания. Прошлым летом Люсика отстранили от экрана, не дали показаться режиссёру, но теперь справедливость восторжествовала. Я услышал Люсика, его звучание. Оно мне понравилось. У него отличная школа и прекрасный Учитель. Попросил у Елены Антоновны разрешения использовать мурчание её подопечного в своём будущем спектакле. Она посмеялась и разрешила, предупредив, что скоро будет готов второй альбом под названием «Мяу, мяу». Будем ждать!

Мы открывали театральный сезон 20—21 премьерой спектакля «Маленький принц. Полёт в одном действии». Я благодарен пандемии за вынужденную отсрочку этой работы. Спектакль вышел осенью, как никогда кстати. Во время паузы мы, каждый, старательно прибирали свою планету, выпалывали баобабы, поливали землю, взращивали новые цветы, всматривались в себя, заново обретали любимых и друзей и, конечно, теряли стремительно, безвозвратно тех, за кого крепко держались. Они уходили от нас, как горячий песок сквозь пальцы. Оставив после себя одну ноту — «до». И её уже больше не хочется нажимать всеу.

Завтра у Елены Антоновны День рождения. И завтра же мы играем спектакль «Маленький принц. Полёт в одном действии». Каждый спектакль идёт с неизменным переаншлагом, и каждый не похож на предыдущий. Я знаю людей, которые возвращаются на этот спектакль снова и снова, приезжают из других городов. Возвращаются, чтобы возвратиться к себе. Елена Антоновна не умеет повторяться. Каждая интонация сиюминутна, каждый жест органичен, как сама жизнь. И какое же счастье, что мы можем быть причастны к этому земному Чуду.

Сказать по секрету (шёпотом, и только шёпотом), мы думаем с Еленой Антоновной о новой работе, ищем, перебираем варианты. В этом поиске не хочется торопиться, в нём можно купаться бесконечно. Это самое классное в театре — поиск. Материала, интонации, движения, вектора. Правильный поиск формирует верный замысел. И как бы мы ни хотели спешить, нам надо поторапливаться. Не оставаться там, в «до», а стремительно, с разбега врываться в «после». Елена Антоновна, двигайтесь вперёд быстро, звонко, смело, впрыгивайте в будущее, как вы привыкли. А мы будем попевать за вами. Только освещайте нам путь. А то темно и страшно.

*Алексей Алёхин*

## Зимние хокку

\*

зима  
показала фокус с платком  
и первый снег исчез

\*

птички женщины в платьях  
снятся зимой облетевшим деревьям  
то же и мне старику

\*

проснулся  
искал воды в темноте  
еле нашёл дорогу к постели

\*

тает в небе луна  
утренней синевой унесло  
голову снеговика

\*

ворона среди голых ветвей  
облетает своё пустое летнее гнездо  
как чужое

\*

подобрал на бульваре строчку  
принюхиваясь к рельсам  
трамваи идут по следу

---

*Алёхин Алексей Давидович* — поэт, эссеист, критик. Родился в 1949 году в Москве. Автор нескольких книг стихов. Создатель и главный редактор журнала поэзии «Арион», выходящего в 1994—2019 годы. Живёт в Москве.

\*

сыпать перестало  
молитва дворницкой лопаты  
дошла до неба

\*

серый сугроб во дворе  
на балконе напротив рубашка на плечиках  
висит всю зиму

\*

мартовский снежок  
памятники надели белые ермолки  
голуби пишат на пороше протоколы мудрецов

\*

слоистая шапка снега долеживает в цветнике  
как стопка больничных матрасов  
а пациент ушёл

\*

бронзовые памятники  
столпились у метро посудачить о весне  
падает пухлый снег

\*

собачек выпустили без попонок  
всплакнула сосулька  
не о том

\*

охнул оранжевый грузовик  
сугроб увезли в реанимацию  
голубь идёт за голубкой

*Игорь Корниенко*

## Чернее чёрного

*Рассказы*

### *Лаврушка*

Смерть живёт в лавровом дереве, Павлик её видел, и не раз, она прячется там, в пыльных, вечнозелёных, жёстких, что можно порезаться, листьях, между непролазными ветками, куда и солнечному лучу трудно пробраться... Смерть хоронится там, в основании мощного, невидимого ствола-антенны, соединяющего этот мир, наш мир, с тем миром, миром иных.

Замахивалась бабушка кухонным цветастым полотенцем, не верила внуку:

— Не выдумывай! Сбегай давай лучше, сорви листика три лаврушки, скорей принеси, борщ вон уже закипает. А без лаврушки борщ не борщ, сам знаешь, не маленький. Не обидит тебя Лаврушка, скорей, наоборот, защитит. Он тут в саду за главным, старожил. За охранника. Верь бабке, беги давай!..

«Ничего не поделаешь, миссия у Павлуши такая, — говорит себе мальчик, шлёпая босиком по выложенной булыжником дорожке, горячей от палящего летнего солнца, — предназначение такое, судьба за лаврушкой, за самой Смертью бегать, бывает, что и на дно по несколько раз бегать», — мимо кустов роз, из прохладной сени виноградника к центру сада, где величаво и гордо над всеми деревьями и домом надзирателем-старожилом, главой сада почётно раскинулся лавр.

«Тебя же в честь Лаврушки назвали, — талдычил отец, особенно любил это дело под пивко рассказывать, с самого Павликова рождения. — В честь нашего дворового Хозяюшки, духа нашего Лаврушки».

Маленький Павлуша слушал с раскрытым ртом. Отец всякий раз обещал показать Хозяюшку, он его ещё называл Дедушкой, и всякий раз напивался, потом трезвел, и трезвому родителю было совсем не до Лаврушки, да и не до сына.

— В самый тёмный-претёмный час Лаврушка выбирается из своего лавра, чтобы проверить владения, — это уже старший брат подыгрывает отцу, папенькин сынок. — Он бродит, огромный, ростом со всё дерево, и заглядывает в окна, следит, чтобы с

---

*Корниенко Игорь Николаевич* — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса имени Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Живёт в Ангарске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 5.

нами ничего не случилось во сне. Вот если ты не спишь или днём чем провинился, нашкодничал, вот тут-то Лаврушка тебе устроит...

— Чего устроит?.. — испуганно хлопал Павлуша глазёнками.

— Увидишь, — злобно кривил улыбку брат, — увидишь.

Павлуша в ту же ночь решил дожидаться самый тёмный-претёмный час ночи, который со слов брата, наступает перед рассветом.

Устроил наблюдательный пункт: с подушкой, одеялом, фонариком и сухарями, у окна детской, откуда лавр виден как на ладони.

Даже ночь не смогла взять верх, растворить во мраке и спрятать лавр — зелёный великан искрит каждым листиком в свете луны и звёзд. Ветер путается в ветвях, гудит лавр колыбельную песню, убаюкивает сад и дом, и маленького наблюдателя, борющегося с Морфеем, шиплющего себя, хлопая по лицу, хрумкая сухари...

— Я не усну! Не сплю! Не спать, — приказывал, и хрустел, и шипал, а глаза не слушаются, закрываются веки, запечатываются сном... Тянет за ресницы Павлик, вглядывается в темноту за окном и не сразу понимает, что видит. А видит: от лавра словно бы тень отделилась, шагнула прочь от дерева и тут же приняла форму худого человеческого существа, нет, это же самый настоящий скелет, не верит себе мальчик, как есть живой скелет с длинной, до звёзд, косой в костяшках пальцев.

— Никакой это не Лаврушка, это Смерть, — шепчет Павлуша в кулачок и прячется под подоконником. Смерть приняла образ Лаврушки, вот и весь секрет... Дурачки только в Лаврушку поверят. Павлуша не дурак...

Смерть подошла к окну детской, он слышит её дыхание — так ветер шуршит в листве, мыши в норах, — чувствует всем своим детским нутром присутствие Смерти, её пронизывающий взгляд ищейки. В пустых глазницах мёртвые зелёные огоньки... Только ей его сегодня не найти, Павлуша под подоконником накрылся подушкой и крепко накрепко закрыл глаза:

— Павлуша не дурак...

Он и проснулся на утро с этими словами на устах под окошком, вскочил, ударился головой о подоконник, не чувствуя боли, а на макушке надулась шишка с грецкий орех, — прильнул к стеклу. Лавр на месте, и ни намёка на ночной визит Смерти.

— Я разгадал твой секрет, Лаврушка, я сфоткаю тебя и всем докажу, — погрозил дереву, скрывающему Смерть, мальчик. — Я не дурак!

— Нет, не дурак, — плетётся к лавровому дереву Паха (не Павлик, не Павлуша тем более, — терпеть не могу всю эту уменьшительно-ласкательную хрень), семнадцатилетний подросток. Бульжники мокрые после дождя, Паха в носках, по-быстрому выпрыгнул в окно детской нарвать лавровых листиков: — Вся жизнь моя — дорога до дерева и обратно, — бормочет, — к Смерти и назад. Тринадцать шагов от окна детской и сорок от входной двери. В солнце, в дождь и снежную бурю, в невзгодах и в радости... Со страхом и надеждой, в предвкушении и безнадёге, с любовью и ненавистью...

Задрал голову Паха в серое небо поглядеть, не торчит ли коса из макушки дерева, споткнулся о собственную ногу, но успел ухватиться:

— Спасла, спасла, — повис на ветке, подтянулся, поднялся Паха. — Снова спасла от падения, Смертушка моя ненаглядная, — в ладонях оборванные листья лавра. — Вот и на дунуть листочков подкинула Смерть моя, спасительница моя...

Поклонился Паха, икнул, попятился, да так спиной, отсчитав тринадцать шагов, вернулся, забрался в окно. Тут же у окна на письменном столе, раньше заваленном

учебниками и тетрадами, теперь один лишь заварной чайничек, «моя волшебная лампа Аладдина», и привычный в последние месяцы ритуал: поджечь лавровый лист в пузатом заварнике и, когда как следует задымит, накрыться полотенцем с головой и дышать через носик чайника лавровой пряностью, «фимиамом Смерти».

Пара-тройка таких «накрываний» — и Смерть приходит к пустому столу собственной персоной.

Первый раз Паха чуть не наделал в штаны, оторвался от чайника, а Смерть за столом сидит напротив, точно такая, как в детстве запомнил: скелет в чёрном балахоне с капюшоном на черепахе и с косою. В этот раз косы не было, как и не было зелёных огоньков-зрачков. На него смотрели чёрные пустые глазницы.

— Чёрт, напугала же, — выдохнул клубы белого дыма, — так и помереть раньше времени ж можно, — захихикал, — где ты пять лет назад была, скажи, когда я тебя ночами с фотоаппаратом как дурак караулил? Ведь до дурки чуть не до караулился. Спать перестал, есть не мог, аппетит пропал из-за нервов, стресса, накрылся обмен веществ, волосы выпали, — похлопал по лысой голове, — частокол поредел во рту, — продемонстрировал пустым чёрным глазницам оставшиеся зубы, — а тебя словно и не было, будто не ты этот Лаврушка, мать его за ногу...

Смерть ни слова в ответ, ни звука.

— Само собой, никто не поверил, что я видел тебя и что ты живёшь у нас в лавровом дереве. Или что, это портал?.. Дверь на тот свет, а?

Молчит Смерть, не шелохнётся, даже капюшон словно из камня.

— Что ты как неживая?! — спросил и тут же ответил. — Хотя ты и мёртвой быть не можешь, правильно же, Смерть, она ж не может умереть, хех... Слушай, — смело пододвинулся к гостю, — раз мы так давно и тесно знакомы, может, ты и меня сделаешь того?.. Этого... Ну, ты понимаешь... Неумирающим, как ты... Вроде и не живой, но и не мёртвый, а? Я тебе вот могу предложить, — постучал по носику чайничка, — потом, как заживу жизнью, работать буду, мнёшь-трёшь, капитал какой-никакой будет, попросишь что посерьёзней, если вообще заговоришь... Неразговорчивая ты, понимаю, сам не из болтливых, по настроению разве что могу лясы поточить... Ну, и под лаврушкой язык развязывается. Это мне корефан братальника показал, как укуриваться листьями можно. Это не наркотик никакой, не подумай...

Смерть молчала.

При первой встрече Паха не осмелился дунуть, но Смерть заявила снова, теперь уже в аккурат, когда Паха только собрался нырнуть под полотенце, Паха попросил его великодушно простить:

— Дуну и поговорим, раз такое дело, чего зря дым переводить, — и, не дожидаясь решения Смерти — всё равно не ответит, — с головой, и телом, и душой опрокинулся на дно белоснежного лаврового тумана...

Смерть, ещё он не слез окончательно с окна, тут как тут, сидит у заварника глыбой, памятник, напоминанием, что надо успевать жить.

— Блин, носок у лаврушки, видимо, посеял, — поболтал босой левой ногой, — новые ж сёдны только надел, чёрт.

Спрыгнул с подоконника.

— Будь так добра, ну, пожалуйста, покажи свою силу, ну хоть малость, чуда чуток. Пусть носок на столе окажется, а? Чёрт с ним, с бессмертием моим, носок сейчас важней.

Важней носка было лишь ощущение полёта и счастья, что приносил дым лаврового листа: вдохнёт щекочущую ноздри пряную лёгкость Паха, и минуты через три знает, что такое любовь Вселенского масштаба, больше, чем просто знает, любит

такой любовью всё вокруг, начиная с молчаливой собеседницы Смерти, заканчивая пыльными катышками под столом и далёкими невидимыми звёздами-галактиками, — их он тоже в это мгновение любит как никогда...

— Носок, скажу я так, иногда важней, и стоит жизни и смерти.

До того, как отправиться в носках за новой порцией лаврушки, Паха уже покурил раз пять из чайничка, поэтому философия и вечные вопросы так и лезли из него. Смерть же, как всегда, постоянна и непоколебима.

— Я не дурак, знаю, что просто так ничего не бывает, вот и ты тут неспроста... Я ведь видел тебя на всех неполучившихся фотографиях, да-да, видел. Это они все смеялись и не могли рассмотреть, не видели ничего дальше своего носа, глубже той темноты, листвы и звёзд, что запечатлела моя мыльница...

Поджог горсть сухих листьев. Бросил в чайник, а как из носика поползла, петля, белая змейка, накинул на голову полотенце и пропал вместе с дымом и заварником, только голос остался:

— Знал, что придёшь, объявишься, я ж не дурак...

Хлопала бабушка в ладоши:

— Конечно, не дурак! В армию не пошёл, вместо учёбы справка, вместо работы другая справка.

Паха смеётся:

— Моя работа — тебе всю дорогу за лаврушкой бегать. Ба. Мне двадцать пять, а я всё бегаю...

— Правильно, — снова хлопнула в ладоши старушка, — и в тридцать пять, и в пятьдесят будешь бабушке за лавровкой бегать, скажешь, нет?.. Борщ-то бабулин вон как за обе щёки уплетаешь... А в двадцать пять, хочешь знать, у меня отец твой уже во второй класс пошёл. Не перечь давай, лучше поди сорви ветку с листьями, чтоб не сухие и не совсем молоденькие, и я тебе погадаю.

Бабушка всегда, сколько Паха помнит, гадала на лаврушке, она и побег мамкин нагадала, и развал Союза, а в последнее время чуть ли не каждую неделю за веткой-предсказательницей Паху посылает. То соседка за мужа-пьяньчужку спрашивает, то дальний родственник насчёт своего бизнеса советует, а на днях поп нагрнул с молодой любовницей, как бабуля ни поджигала лавровую веточку, не загорелся лавр — не выйдет ничего у попа с молодухой, не исполнится задуманное, не случиться...

— Да чего мне-то ворожить, — отмахивается по привычке внук. — Я с самой Смертью знаюсь, друг её закадычный, мне все эти гадания-предсказания — дым. Мне Смерть ещё по юности сказала, обещала, если и умру, то возвращусь Фениксом из огня.

Замахнулась бабушка на внука совсем не в шутку, грозно:

— Не шути так. Со смертью тем более не шути!

— Да кто шутит-то?! Истину говорю! Ты, ба, главное, лавр не пожалей, сожги дерево, и увидишь, как я из огня горящего дерева выйду воскресший, невредимый, живей всех живых!..

— Ну вот кто ты после этого, если не дурак?

— Чуть что, так сразу дурак. Это вон, кто в Лаврушку-семейного духа верят, дураки полные. А Смерть, если покумекать, всегда рядом, и куда реальней вашего Лавруши...

Бабушка перекрестила внука:

— Лаврушка здесь с начала времён, все наши предки под его ветвями, под сенью

его. Он и подсказывает нам, как жить-выживать. Сжечь лавр — это же уничтожить весь наш род, всю память предков, всю историю, родословную... Это грех, и мыслить такое уже страшно... — слёзы в морщинках бабушкиных щёк засверкали, набухли, того гляди потекут, не остановить, и внук сдаётся:

— Ба, ну чё ты вот, как эта... Я ж люблю тебя, и Лаврушку люблю, и веточку сейчас сбегаю принесу...

Всхлипнула старушка, вытерла краешком косынки глаза:

— Только не забудь разрешение у Лаврушки попросить...

— Знаю, знаю, сто лет уже ж прошу, — перебил внук, — «Дедушка Лавр, разреши листочков твоих нарвать»... Итэдэитэпэ... Блаблабла... Ляляфа...

— Поклониться не забудь, — напомнила, крикнула вслед внуку.

Паха помахал «услышал», повернулся, театрально поклонился бабуле, засмеялся.

— Дурачок.

Упал Паха на колени и лоб в кровь рассёк о твёрдую сухую землю, красные ленты по лицу, — прости дурака! Пьяный я, пьяный дурак. Дебил, алкаш, дегенерат!.. Паху трясёт с похмелья, пил весь май беспробудно. Лавр источает жар палящего июньского солнца, дышит горьковато-сладкой пряностью, слушает исповедь человека, дожившего до возраста Христа и вчера набросившегося на дерево с топором и криком «Умри, нечисть!». Рана от топора на стволе обработана бабушкиным раствором из медного купороса, перевязана бинтом.

— Прости, Лаврушка, ради Бога прости! — и кланяется, кровью расписывая землю у корней лавра.

Бабушка предсказала беду много лет назад по горящей веточке, что принёс внук, увидела тогда в сизом дыме старушка черноту злоупотреблений, желчь, страх и беду... Услышала в треске обуглившихся листьев крики внука, невысказанное, потаённое...

— Ты мне только, что там Лаврушка предскажет, что со мной дальше в будущем будет, не говори, — строго-настрого наказал внук.

И в тот же вечер пришёл домой навеселе, и на следующий... Всё, как и нащептала лавровая веточка.

— Прости, Лавруша, — не помнит Паха, с чего вдруг схватился за топор, пьяный был в несознанку, из тумана лишь образы, виденья: вот плачет ба, отец с братом оттаскивают от дерева, валят на грядки с помидорами, вот и Смерть-подруга над всем этим, выше лавра, с косою, закрывающей солнце... — Прости дурака, — и бьётся лбом, и будь его воля, разбил бы голову до мозга, до смерти, и смертью вымолил бы прощение, но перед глазами — «что такое?» — в кляксах крови и земли — носок. Его, новенький, один раз надёванный, потерянный давным-давно по молодости носок. Его искал он сто лет назад, как помнится, в дождь, да так и не нашёл, и вот он теперь здесь знаком «стоп», и будто не было всех этих десятилетий, будто только вчера потерял носок — чист, свеж, нов... Паха подобрал пропажу, «точно мой», вытер окровавленное лицо носком, спрятал за пазуху. Вместе с находкой вернулась и старая знакомая.

Согнулась над ним в три погибели и, «дурак, какой же ты дурак, Паха!», ничего не сказала.

— Зачем сейчас? — промямлил Паха, не поднимая глаз, да и сил не было, — оторви он взгляд от земли, казалось, выблует из себя всего себя. — Носок? Почему именно сейчас ты его вернула? Знак? Для чего? Что я должен с ним сделать?

Лишь знойное, кишашее жизнью лето гудит в ушах на перебой с отравленными алкоголем кровью, чувством вины и стыда.



— Повеситься на нём, да? Этого ты хочешь? Так знай, только дураки вешаются на носках.

Плюнул через плечо, споткнулся о свои ноги и, не оглядываясь, по тропинке из булыжника к дому.

«Дураки вешаются на носках», — одно и то же повторял внук. Бабушка слышала, крестилась, молилась.

После случая с топором Паха ещё сильнее запил, повязал носок на шею галстуком-удавкой и не снимал больше.

— До самой смерти буду носить как напоминание, как наказание, как судьбу.

И не ходил больше Паха за лавровыми листьями, обходил дерево и даже не смотрел в его сторону.

Бабушка жгла листья и веточки — видела страшные сны внука, видела его удел... Развязку жизни...

Смерть не отходила от Павла, всюду с ним: в туалете на унитазе, и в ванной с отрезвляющей ледяной водой, и в ведре, куда его стошнило...

— Дураки вешаются на носках. А я и есть дурак! Самый из самых, дурак дураком! — признался себе и Смерти Паха.

Вот тогда-то Смерть и заговорила.

И Паха слушал её не перебивая, соглашался, кивал, поддакивал:

— Всё так, да, как есть дурак, самый настоящий... Да-да, дурак, да!..

Только бабушка опередила Смерть. Пока младший внук дурачком, китайским болванчиком кивал пустоте и плакал, сильнее затягивая на шее носок, она пошла к Лаврушке, долго разговаривала с деревом, обнимала, вставала на колени, кланялась, а потом подо жгла бинт, — им она перебинтовала рану лаврового дерева с месяц назад, вспыхнула ткань, а следом сухие листья лаврушки, пламя взметнулось по стволу к макушке, лавр в миг превратился в вихрь огня: треск, искры, дым... Озарилась ночь.

Когда тьма за распахнутым окном детской стала мандаринового цвета, Павла буквально что-то вышвырнуло из комнаты.

Всё как во сне, в нереальности. Он оказался на булыжной тропинке, а перед ним пылающий до неба костёр лаврового дерева и бабушка в зареве огня, нестигаемая чёточка, восклицательный знак в хаосе стихии, и... Смерть.

Внук закричал, сорвал с шеи носок, что не давал крикнуть во всё горло, и закричал громче огненного светопреставления:

— Лавруша, дедушка, помоги!

Побежал босой (или в одном носке?) по булыжникам к лаврушке, к бабушке в кольце рыже-алого света и жара. Схватил её, оттащил к тропинке... Не видели ни внук, ни бабушка, как из огня явилось нечто древоподобное, огромное до неба, оно схватило Смерть, спеленало её ветвями и рухнуло на грядки с помидорами обгоревшим скелетом веток, листвы и пепла.

— Я посажу новую лаврушку, ба, ты только не плачь, — причитал снова и снова и вытирал невидимые бабушкины слёзы ладонью внук. — И пить больше — ни грамма!..

А в темноте над ними искры сторевшего лавра превращались в звёзды, в новые созвездия, новую Вселенную, новую жизнь...

Утром на пепелище Павел пришёл с зелёным лавровым саженцем, где его ожидала ещё одна находка, покруче сто лет назад потерянного носка. Павел нашёл разломанное напололам лезвие косы.

## *Анна на ручке*

### *Анна и библиотекарь*

Любить писателя — гиблое дело. Истина, проверенная веками. Считала Алла Леонидовна, библиотекарь городской центральной библиотеки, поэтому любила писателя тихо, «про себя»:

— Вполголоса, — утешала Алла влюблённую душу, — ведь именно такая любовь настоящая, любовь вполголоса, любовь на цыпочках, лёгкого дыхания, в полвдоха любовь. Молчаливая. Безответная...

Не пропускала ни одной творческой встречи с любимым автором, всегда сидела в задних рядах с краю, чтобы не дай бог не выдать свои чувства, чтобы не заподозрили, не уличили, не подняли её любовь на смех, не растоптали слухами, намёками, шутками, подозрениями, жалостливыми неискренними речами: «Не пара он тебе, Алла Леонидовна, они же все только в своё творчество влюблены и, кроме него, только себя ещё любят, ну и домашних своих питомцев...» Не бередили и без того измученное сердце снова и снова: «Любить писателя — гиблое дело...»

— А мне, может, и не нужна его любовь, нужно всего лишь присутствие. Чтобы был просто рядом, пусть не любит, просто будет. Смотреть на него, дышать с ним одним воздухом, ощущать тепло его тела, его запах... Слушать его стихи... Может, мне этого достаточно. Может, нам хватит одной моей любви на двоих...

Но вот писатель появляется в библиотеке — «заскочил поздороваться», — и Алла понимает, что одного присутствия мало, ей до желудочных спазмов, до болей в животе, заканчивающихся бегством в туалет, хочется прикоснуться к нему. Достаточно одного касания, едва ощутимого, как пёрышко...

Прикоснуться к его пальцам, к волоскам на руке. Алла бы всё отдала, что есть в жизни, за прикосновение к его щеке, к губам...

Фантазии плюхались в живот, живот сворачивало диареей, и Алла Леонидовна, оставив пост в отделе «Абонемент», скрывалась в кабинке туалета. Впечатлительная с детства, она всегда страдает животом.

— Любовь всё вылечит и живот исправит, — успокаивала себя и бурлящие внутренности библиотекарь. — Надо верить и продолжать тихо любить, и всё образуется, всё наладится, любовь не может не победить, особенно такая любовь: чистая, молчаливая, настоящая...

И это случилось. «Провидение», — так посчитала Алла Леонидовна, увидев портфель писателя в кресле у гардероба. Вышла из туалета, и вот оно, провидение, да такое, что снова скрутило живот. Алла действовала по велению сердца, сердце сильней живота, сердце победило живот, — схватила уже совсем не чёрный, выдавший виды портфель писателя и бегом из библиотеки на улицу. Под дождь.

— Дождь всегда кстати, — бежала, прижимая драгоценность к груди, — всегда в помощь дождь, — колотилось сердце о кожу портфеля, — дождь смывает все следы...

По лужам в сменных, библиотечных, тапочках напрямик к дому, в однокомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажной хрущёвки.

*Мариям Кабашилова*

## ПЛЫВИ НА БЫСТРЫХ ПАРУСАХ

\* \* \*

Я запишу без клякс,  
Сидя за школьной партой:  
Есть Москва и Буйнакск,  
Всё остальное — карта.

Розы и все цветы,  
Спелый арбуз на блюде,  
Есть на свете лишь ты,  
Все остальные — люди.

Звонких колоколов  
Тянутся к небу руки,  
Только музыка слов,  
Всё остальное — звуки.

\* \* \*

Эта история закончилась добром,  
Трагедия обернулась драмой,  
Женщина снова возвращается в ребро  
Мудреца Хаддама,  
Первого заметившего чёрного дрозда  
У её ног.  
Каждый так мог... или не мог,  
Высыпав птицам крошки хлеба.  
Сначала — быль и небыль,  
Потом — боль и небо.

---

*Кабашилова Мариям* — поэт. Родилась в 1980 году в г. Буйнакске (Дагестан). Публикации в журналах «Дружба народов», «Юность», Prosodia и др. Автор поэтических сборников «Вода» (2012) и «Физика» (2017). Участница международных Форумов молодых писателей России и стран СНГ «Липки». Живёт в Москве.

\* \* \*

Захожу в твою комнату, сонную речь затаив,  
 Серебристыми зёрнами в окнах застыл негатив,  
 Рассыпается воздух размашистым лёгким снежком,  
 Время к вечности жмётся, врастает стежок за стежком.  
 Где ты там обитаешь теперь, рукаст и речист?  
 Отрешившись от жестов, остались руки ничьи.  
 Уколотся б еловой иглою, распутать бы ель,  
 Неба скудные краски собрать и пустить бы на гжель.

Ты там жив или мёртв, слеп или зряч, стар или юн?  
 Говоришь и то, и другое — февраль и июнь.

\* \* \*

Пльви на быстрых парусах  
 От бури и душевной смуты,  
 Так мало времени в часах,  
 И вечность целая — в минуте.

Смотри, как солнцем обделён,  
 Растёт цветок на этом свете,  
 Как у подъезда старый клён  
 Пускает золото на ветер.

Вот было лето, а теперь  
 Кружится жёлтый лист красиво.  
 Чтобы понять, зачем в тебе  
 Звонит тоска с такою силой,

Как мысль сквозь слово проросла,  
 Чтоб ты меня услышал снова.  
 Метафорам здесь нет числа,  
 Но это понимай дословно.

\* \* \*

Ты никогда не узнаешь, зачем мы здесь.  
 Слышишь? — идёт за нами дремучий лес.  
 Вечер влезает в окно, как ловкий вор,  
 Время крадёт начавшийся разговор,  
 Лютый туман проникает в самое сердце.  
 Можно уйти, но — никуда не деться.  
 Так что копи печаль, умножай тоску,  
 Приставляй осеннюю ночь к виску.

\* \* \*

В белом плену парки, дома и храмы,  
 Вновь над Москвой снежная кружит выюга,  
 Столько женщин, но нет среди них мамы,  
 Столько мужчин, и ни одного друга.

Что же, куда податься, к какой фемиде?  
 Ну, напиши мне что-нибудь ради бога.  
 Я так устала больше тебя не видеть,  
 Не улыбаться, не говорить, не трогать.

Не обойдётся жестом, коротким словом,  
 Хватит тоски на долгое говорение,  
 Эти стихи, стихи вряд ли кого — глаголом,  
 Просто впадают Волгой в стихотворение.

*Григорий Рязжский*

## ИДИОТИК

*Рассказ*

Сколько себя помнил, всегда был неверующий. В смысле, он, Лёха Чиндяйкин. Как родился, так, считай, имелась только бабка родная. Звать — как няньку у Пушкина, Ариной, но только не Родионовной, а Гавриловной. По-местному — Гаврилишной. Место пришлось на Тульскую губернию 21-го века, но только оно, как и многие места, по-прежнему считалось лохматой глушью, куда за неимением нормальных дорог приличным людям стыдно нос казать.

Раньше тут, по крайней мере, были шахты. 4-я БИС, к примеру, и лучшая из остальных — Седьмая Глубокая. Оттуда брали бурый уголёк, с пластов в два зрелых мужицких роста, что по меркам горняков считалось редкой удачей. Да и платили побольше, и потому тамошняя жизнь считалась местными счастливей и добычливей.

Лёхина родня со стороны Чиндяйкиных, что уродилась ближе к Ханино, примыкала больше к неудачникам, чем к Семёровичам, — то бишь к 4-м БИСовским. Правда, когда Лёха ещё только-только обдумывался на предмет зачатия, шахты давно позакрывались, пласты истончились до беспредела, а уголёк в них кончился, считай, до последнего дна из всех на тот момент разведанных. К тому же полродни вымерло от силикоза — другая половина, какая выжила, по-тихой доскребала оставшийся житийный ресурс: кто как сумел, так и тянул.

Случилось, что Лёха, выйдя на свет слегка недоделанным по части головы и ума, застрял в неловком промежутке между равнодушным чувством к нему матери и повсеместной в этих местах безотцовщиной. Надо сказать, в тульских местностях, особенно шахтёрских, такой подход мало кого удивлял. По большому счёту, привычно тут бедствовали все, за вычетом партийного начальства и угольных воров, схитравшихся толкать уголёк налево путём развозки его по ближним деревням, ещё с того века топившимся без газа и дров.

Мать Лёхину затронуло не меньше остальных. Поначалу она ещё так-сяк, но жизни этой как-то сопротивлялась, пытаясь зацепиться корневищем то тут, то там. После — перестала. Сообразила, что пить — дешевле и проще. И смирилась. Поэтому

---

*Рязжский Григорий Викторович* — писатель, сценарист. Родился в Москве в 1953 году. Окончил Московский горный институт. Печатался в журналах «Киносценарии», «Знамя», «Урал» и др., а также в русскоязычной зарубежной периодике. Автор 16 книг прозы. Переводился на европейские языки. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 8.

в школу Лёха пошёл сам. И сам же всю дорогу ходил. Не в том смысле, что перемещался на ногах от ханинской избы до школьного строения в бывшем посёлке БИС-1, а в том, что мать не особо знала, в какую именно ходит. Главное, чтоб учёба шла молчаливо, без излишней канители, вопросов по дневнику, учительских нареканий и трат на учебники со всем остальным. Короче, с первого дня Лёхой заведовала Гаврилишна. Она же была Лёхе и пьющая мать, и неизвестный отец, и загадочный школьный директор разом. Вообще-то он любил её, бабку. А любя, часто думал, что странное, мол, дело — кабы не было её вовсе, то скорей всего сдох бы, натурально. Просто не начался бы вообще. Некому было б начать. Последний раз мать кормила его молоком ещё с сисек, другой еды от неё не получал. Понял про маму и себя уже потом, сам, один. Всё остальное дала бабка. Если честно, так и не усёк до конца, откуда в доме было поесть и одеться. Хотя с одеждой оказалось более-менее понятно: валенки — всехние, без размера. То же — с ватниками. Рубахи бабка сострачивала сама, из остатков фартучной ткани. По ней обычно шли плоды и цветы. Иногда, правда, случался то ли ковыль, то ли репей, но этот временно бесхристовый узор бабку волновал мало — главное, чтоб внук был при чистом и имелось на замену.

Штаны оставались от деда, много. Дед был давно мёртвый шахтёр, хотя при жизни шахту ненавидел ещё хуже, чем недолюбливал Гаврилишну и дочку. Наверно, именно поэтому имел так много штанов, чтобы было обильно сменное после едкой на вкус угольной роботы. Первые годы, пока Лёха шёл в рост, Гаврилишна дедовы штаны изрядно укорачивала, но не подрезала насовсем, чтоб иметь отпуск на потом. По ширине — закладывала вдвое-втрое, убирая лишнее в бока. Тоже с прицелом на дальние времена. Потом, по прошествии лет, бока эти бабка потихоньку рассвобождала, а длину добавляла. Отсюда выходило, что Лёха вечно был при параде. А заодно прибран и умыт.

Вот только с головой не прояснялось. Про это кто-то там в белом и шапочке при завязках в шахтёрской больничке честно брызнул бабке на ухо. Не так с головой было не в том смысле, что по учёбе не успевал — было как раз наоборот и даже сверх того. Просто как-то по-другому малец видел с раннего возраста. Она ему, которая в шапочке: это чего тут у нас на рисунке? Ёлка, отвечал. А какая она, ёлка эта? Круглая, удивлялся Лёха, какая ж ещё? Да нет, ты взглядишь, миленький, это ж чистый треугольник: сверху острый кончик, понизу — углы один против другого. — Нет же, круглая, — продолжал упорствовать Лёха, — и никакой не треугольник, вы чего, слепая, что ли?

Видел по-другому. Сверху предмет брал, тем же глазом. Оно и выходило круглое. И никто врачихе той не пояснил про интересную Лёхину особенность. Впрочем, и сам не знал — откуда знать-то? На деле же, когда пошла учёба, схватывал шустрей прочих, а чаще и от себя добавлял. Особенно, когда началась первая лёгкая физика. Тут Лёха оживлялся как никто в классе и чаще выступал не по делу. Например, не мог уразуметь, отчего звёзды не поддаются силе всемирного тяготения, одолевая эту силу не до конца, когда всё дело в притяжении одна к другой. Казалось — ты здоровей, так пускай слабая к тебе тянется, всё по закону. А как подойдёт, так сразу же прилепится: именно так у Исаака Ньютона писано. И с остальным похоже. Глядишь, вся солнечная система переиначится, выпрямится в косую линию, как опилки с магнитом, согласно правилу того же умника в парике.

Случалось и по химии, когда тоже пошла. И снова вопросы, много, всё на стыке. А ещё долго не мог понять, как конкретно, в какой последовательности и какая именно из частиц вышибается с орбиты первой других при лучевой болезни живого

человека. Картина складывалась более чем загадочная. Электрон вращается вокруг атома, а из-под орбиты отчего-то выскакивает само ядро. И человек гибнет. В теле его происходит ужасный раскардаш, в результате которого меняются внутренние настройки. Сигналы, что управляют организмом, выходит, больше ему не подчиняются. Также нутряные соки, гуляющие по сокрытым от глаза человека каналам и путям, обретают неустойчивость русла и оттого образуют свободные заливные пространства, мешающие жизни функций. Ну и всякое такое. А дальше — смерть, ясное дело.

Открытиями делился с учителями. Те в ответ лишь жали плечами, чуть глуповато улыбались, но потом просто отмахивались. Кто из них первый за глаза назвал Лёху идиотиком, выяснить не удалось. Знал лишь, что вскоре не осталось в школьном здании живого человека, кто не звал бы его так, а не иначе. Уже в глаза, без никаких. Раньше лишь опасно дразнили, после — стали дружно называть, не опасаясь учительского гнева. И главное, лучше б «идиот» говорили, просто, без ласковости этой обидной. Или привычно всем — «дурак», «козёл» или пускай даже «скотина». Не так досадно. В «идиотике», помимо нездорового начала, присутствовала ещё обидная карликовость, будто он, Лёха, ростом по жизни не ниже среднего, а на деле ходил под стол, идиотничая и сморкаясь в пол.

Было такое, когда уже и школа кончилась, а в армию по головной родовой болезни не взяли. Работы — никакой. Пацаны — кто уехал, кто замёрз, кто стал помаленьку спиваться. Основняк, борзые — те по большей части сели. Из близких осталась лишь ослабшая телом Гаврилишна и усыхающая день ото дня мать. Тогда-то и осознал Лёха, что — всё. Теперь он кормилец. И что ни физика не прокормит, ни химия никакая не спасёт. И обе не обогреют. А прокормит работа, которую он станет искать.

В тот вечер, когда дотумкал про системный труд, стукнулась идея. Сама вкатилась, лично он не звал. Было про устройство материального мира, в целом. «Как же так... — подумал Лёха Чиндйякин. — Если есть на свете закон Божий, а никто не знает, откуда взялся, то, значит, он был всегда? А если был всегда, то где же общее для всех начало и почему этот закон так сильно действует на сознание человека, что почти всякий помысел доводит до поступка? К прямому действию, а не мысли о нём. А ещё к встречному посылу в никуда, который точно так же кто-нибудь наверняка услышит. Пускай не ушами, а по-другому, но ведь кто-то, что-то или нечто должен это как-то перетаскивать в пространстве с одной точки до другой? Или даже больше: от одного целикового пространства до другого, тоже целого. И, кстати, там-то у них чего — за их же границей?

Ответа не было. Тогда Лёха покормил лежачую бабку и, строго глянув на мать, добрёл до рейсового автобуса. И поехал в сторону 4-БИС: на старый, почти уже вымерший от безнадёги посёлок. Искать работу. Дело было добрым и правильным, тем более что сроки выживания семьи, где он теперь был главным, нешуточно поджимали. И то сказать: огород — запущен. Там, куда когда-то Гаврилишна ходила срезать молодую морковь и первую свекольную ботву на быстрый летний борщ, теперь хозяйничала сныть пополам с несъедобным борщевиком. Плюс сорный болиголов, заповивший плодородные когда-то грядки. А бесплатный картошный надел в две сотки, всю жизнь имевшийся за околицей, взяли и отобрали. Просто так. Новые, когда пришли, сказали, мол, эта земля теперь наша, пока мы не увязли в борьбе, она умрёт, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе... И заржали. А после приватизировали, всё по закону. Как — Лёха не понял, а ему не объяснили. Про ржачку ихнюю потом сам узнал — оказалось, из песни, которую все слышали. Кроме него, Идиотика.

Он попробовал было выяснить, чего да как, для этого поехал на тот же бывший 4-й БИС, где окопалась власть, хоть там и глушь. Нашёл, стукнулся. Так ему сказали, что, мол, затыкай давай, Идиотик. Иди лечись по-новой, а в дела не суйся, не для твоего они сумрачного сознания. Так что давай кати дальше, про поля орошения электронных молекул внутри сраных атомов своих вкручивай.

Плохо, что и те про него знали, бисовские. Что он типа не в себе. Глушь-глушью, а молва, сука, вышла скользкой. Про доброе всякое, про бабу неподъёмную с никакой матерью, отдельно — про Бога, без которого Гаврилишна не могла вообще и ни по какому: всякий день поминала так и сяк... — про это всё ни гу-гу, словно ни темы нет, ни больно никому, ни бедно всем сразу. Зато про Идиотика — вот оно, на чистом выгребном верху. И откуда-то ещё в курсе, что читает без усталости и сыплет, сыплет ахиною разную вокруг себя. Восемь раз — наемни подсчитали — в район катал, в Суворов, в ихнюю горбиблиотеку. Там — бесплатно плюс интернет для всех, за так. Ну записался, стал просить. Оказалось, есть люди-то, есть. И мысли похожие, от которых чистейший пар. Один раз уши заложило от того, куда прочитанное завело. Главное дело, женщина была. Умная — аж сердце останавливается. Оказывается, всему виной поля. Мир материален, ровно как Лёха и думал. Даже слово, оказывается, хоть сделано не из твёрдого, имеет вес. Но самое первостепенное — мысль. Так же, как и звук, и действие, и любое движение разума или материи — всё обладает физическим свойством. Даже Бог, есть он или нет его, сам по себе не имеет минимального авторитета без строго научного подхода. К слову, взял, к примеру, да и помолился, как делает всякий вечер родная бабушка Арина Гаврилишна: так он с молитвы твоей считывает сигналы, выпущенные в сферу разума. Поэтому и слышит. Только после не сам ответ даёт, а умная сфера за него работает. Как автомат, распределяющий быстрые нейтрино в обмен на твои же личные нейроны, если сам открыл их и выпустил. Примерно так или около этого.

За окном плыли ракиты. Их, если подряд, было четырнадцать, в линию. Лёха точно знал, что были не посаженные, потому что взошли сами по себе. И вышло ровно и прямо, будто нарочно. Тоже бывает.

Потом закончилось Ханино и пошла грунтовка с небольшой добавкой гравия, хотя и с частыми колдобинами. Трясло. Лёха любил, когда была тряска. Помогало думать. Он вообще любил думать, ещё со школы и первой на его памяти материнской пьянки. Запомнилось, что как раз тогда он впервые спросил себя, где же у него отец. Про деда знал — причиной была война. Про отца — не ведал. Мать огрызнулась, а бабушка Арина, хоть и любила, и ласкала неумело, но упрямо дулась за неумный интерес. Тогда Лёха, чтоб не раздувать пожар, начинал скользить глазами по стене, пытаясь угадать, почему таракан, убегая по вертикали, не срывается с плоского вниз, а он, Лёха, коли поползёт ему вслед, так точно упадёт...

Потом был пруд, после ракит. В пруду водились голавли, и Лёхе, когда рыбалил, каждый раз удавалось ловко их подсекать. Только не было и разу, чтоб пацаны после не отобрали. «Тебе они, Идиотик, зачем? — спрашивали и ржали. — Тебе чесноку надо, для лишнего ума, а голавлики, они для нормальных типа нас». Лёха сматывал снасть и уходил. Часто, пока шёл к дому, думал, что, и правда, наверно, идиотик, раз все того хотят. Хотят — значит, есть. Он и сам порой чуял в себе какую-то постороннюю гадость, что однажды въелась в кожу зелёным лесным клопом да так и осталась в ней, не подыхая.

Ещё с полчаса было неинтересно. Автобус чихал, но кое-как продвигался вдоль чахлого, по обочинам, кустарника; чуть погода, выехали на более-менее твёрдый путь,



---

Сергей Золотарёв

## Небесная Твердь

Рассказ

1731 год. В Рязани при воеводе подьячий нерехтеец Крякутной фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в неё, и нечистая сила подняла его выше берёзы, а после ударила о колокольню, но он уцепился за верёвку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, и он ушёл в Москву, и хотели закопать живого в землю или сжечь.

*Из записок Боголепова*

1891

— Васька, ты чего?

— Ух, полечу.

— Убьёшься!

— Тут важно — как. Вы все обычной смертью сойдёте, как снег. Кто в кабаке упьётся. Кто от трудов непосильных жилу надорвёт. А я хочу с землёй почеломкаться. Да так в уста её сахарные засосать, чтобы век помнила.

— Скорее топь тебя засосёт.

Васька стоит на пожарной каланче с ломкой корочкой самодельных крыльев за спиной.

— Слезай, придурошный, — подходит жена — Акулина. При ней Ваське несподручно. Он не опробовал ещё конструкции и не желает срамиться. Потому нехотя, цепляясь крыльями и вконец их ломая, начинает спускаться.

— Принесла нелёгкая.

Небо серое, затянутое дождевыми тучами. В такое небо даже плохой хозяин...

Вечером в кабаке Васька расходится и задаётся. Собрал вокруг себя кружок студентов, вещает им диковинную теорию воздухоплавания.

— Вид из окна это то, на что мы смотрим или то, чего видим? А вид сверху? Вам не кажется, что мы не можем себе его позволить из трусости? Заглянуть природе под юбку — на это у нас нахальства хватает. А вот обозреть родную окраину

---

*Золотарёв Сергей Феликсович* — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Окончил Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе. Автор поэтических сборников «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2021). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Живёт в г. Жуковский.

Предыдущая публикация прозы в «ДН» — 2021, № 7.

свысока — тут кишка тонка. Это же в голове. Ментальность, как сказал бы австрийский доктор (или ещё такого понятия нет? Ну да и ляд с ним), — распаляется Василий.

Мёд отставлен в сторону, пошли прозрачные русские слёзы. Горький напиток, отдающий свинцом.

— А оттого, что есть в безопорном воздухе место, что называется Твердью Небесной. И тогда человек может идти по небу, аки по суху, и ангелов на облаках наблюдает вживую. Только постоянного места у Тверди этой нет. Она как остров какой. То вынырнет, то опять исчезнет. Потому и не обнаружили его до сих пор. Говорят, несколько счастливчиков только добрались да там и остались — так там хорошо.

— Бреешь.

— Да у меня батя там сгинул.

— Счастливчик?

— А то? И счастливчик. Он на шаре улетел. Да так и не вернулся на почву. А акkurat на Покров на меня сверху шапка пала. Отцова шапка — вот те крест. Гляжу, а в небе хрустальный облак стоит, как дворец шахматный. Да высоко так! Ничего не усмотреть. Не расслышать. Уж орал я, уж махал. Это ведь батя мне весточку скинул, — пьёт и плачет Васька-стервец.

Приходит Акулька, забирает непутёвого домой. Любит его потому как.

\* \* \*

Пробуждение.

— Всё-всё, отстань, чумной, — ласково встаёт с кровати побывавшая в утренних объятьях мужнина жена. А он ещё лежит, добрый и похмельный, ворочая в голове неподъёмные тюки мыслей:

— Кого человек ублажает? Ведь не тело. Что тело? Наслаждение на пару временных интервалов. И ведь не душу. Душе этого не требуется. Но и не психику. Психика этого не выдержит. И вот, подумал Галкин, вполне вероятно, что между телом и душой в процессе трения образуется отработанная жидкость, а впрочем, может, она и специально добавлена, как масло, чтобы части личности при контакте не перегревались. Она-то и требует этих наслаждений, в качестве охлаждения для поддержания рабочей температуры.

— Дядь Вась, иди конец света смотреть, — зовёт в окно соседский мальчишка.

— Чего тебе ещё?.. — ворча выходит Василий на крыльцо.

Тысячи птиц усыпали землю. Чёрные мёрзлые плашки ворон и галок разбросаны, как обгоревшие звёзды млечного пути, снятые под копирку. Старый Голутвинский тракт похож на небо.

Богобоязненные люди видели в том знамение и молились по домам.

Галкин в раздумье ходил по дороге, брал холодные трупы на лопату и относил к братской птичьей могилке. Он собирался сжечь их, чтобы отправить домой на небо.

— Васька. Ты пошто на покос не пошёл?

— Есть надоба покучерявее.

— Это птитвору-то шевелить? Срамота. Иди ещё заупокой поставь, еретик!

— Тебе, Матвевна, своих-то детей не жаль по земле сволакивать, куда ж птицу понять. Она вон с неба попадала как груша. А ты о земле печёшься. Земле не больно. Больно в том месте, где оторвалось.

— Тьфу, — Матвевна обиделась, услышав что-то отдалённо похожее на «сволочь», и ушла, подволакивая ногу.

Образовавшуюся пустоту занял серый отдышанный воздух. Перистых телец не убавлялось. Говорили, они усыпали собой всё вокруг на сотню вёрст.

— Может, со стеной какой столкнулись? — размышлял вслух Галкин. — Или с горой летучей?

Размещая трупики в ряд на импровизированном жертвеннике, Васька разговаривал с душами умерших птиц:

— Ежели хотите что сказать мне, так самое время. Верхнее небо наехало на нижнее, али ось колеса небесного подломилась? Где ваши голоса, сизокрылые братья? Порваны связки? Что вы молчите? Или мне последовать за вами?

Галкин подумал, что таким образом птицы указывают ему путь на небо. Сначала надо пасть, сорвавшись с неба, разбиться, чтобы потом душа с восходящим дымом отправилась напрямиком в Рай.

— Эхе. Да ведь я православный. В земельку прикопают. Да и расшибиться заведомо грех какой. Однако ж, Тверди небесной взыщу! Стяжать её, чай, не есть ли подвиг духовный?

Он взял разодранный труп неопознанной пичуги голыми руками и поднёс к лицу.

Вилочковая кость имеется только у птиц и предназначена для полёта. Это именно та косточка, которую они тянут на спор с Акулькой, когда едят по праздникам курятину и, пребывая в хорошем настроении, решают, кому из них быть сверху.

Васька не раз видел скоординированный полёт огромных стай скворцов, ворон, галок или других птиц, который приобретал причудливые формы. Точно огромная тень постоянно меняет конфигурацию, переливается из пустого в порожнее, отливает иссиня чёрным. Галкин думал, что птицы объединяются в такие стаи для защиты. При этом во время полёта они находятся в таком положении, при котором солнечный свет равномерно освещает каждую птицу.

Но то — полёт. Чтобы точно так же вести себя в смерти на земле, такого ни одной стае в голову бы не пришло. И вот же ведь разлеглись по всей округе в боевом порядке.

Так и не найдя в себе силы пойти в поле, отправился домой обедать.

Как же мне крылья-то закрепить надёжнее? Ведь под давлением массы воздуха, противодействующей падению тела, фанера сломится, а жердь слишком утяжеляет конструкцию. Вот бы полую кость иметь для дела, — думал наш горе-изобретатель, уплетая куриный суп. — Ежели бы полёт использовал силу мышц, надеяться было бы не на что. А вот инженерную мысль вплести в окружающую среду вполне себе можно.

Паутина в углу колыхалась сквозняком. Одомашненный ветер.

— Воздух — это что? То, что во мне и я в нём. Человек — прослойка между внешним воздухом и внутренним. Стало, уже парит в надземной газовой смеси. Прямохождение — это спрямление атмосферного столба. Ещё одно усилие, и можно будет говорить о полёте.

Нашли Василия Галкина в своей избе, подавившегося куриной костью.

## 1957

Ни один самолёт ещё не оставался в воздухе.

*(Лётная мудрость)*

Два «ястребка» разбегаются по взлётке. 57-й. Год запуска первого искусственного спутника и последнего натурального молока.

Разлетаются на километры. Конечно, ни о каком наблюдении зеваками нет и речи. Это во времена Чкалова такое было возможно, когда скорости были, скажем, совсем околосредными. Реактивные разгоняются до сверхзвука с запасом, оттого увидеть их можно только на выполнении фигур высшего пилотажа, чем обычные дуэлянты и меряются.

Но эти решили лететь навстречу до максимального сближения, выпуская в сторону оппонента жёсткие лучи самозванства. Шерше ля фам, как говорится.

Оскорблённое достоинство требует сатисфакции в виде воздушной дуэли. Оружие — МиГ-15.

Испытательная техника, она что? Её не жалко и угробить. А уж свои жизни наши орлы заложили богу войны ещё в Великую Отечественную.

Подходят. Стальные тазы дрожат, как при родах. Сигара фюзеляжа затягивается встречным потоком, сжигая алюминиевый табак в пепел осыпающегося грохота. Рахитичные стрингеры уже не держат. Земля вращается как веретено, наматывая первый спутник.

Первым отвернул второй.

\* \* \*

— Ты на него зла не держи. Он за небо душу отдаст, — мать Мартина Галкина сидит со своим крестником — летчиком-испытателем Талабуевым Ванькой — тем самым, что только вот просрал дуэль обидчику.

— Начиная с прадеда, весь их мужской род связан с авиацией. Существует семейное предание — уж не знаю, откуда пошло, но каждый Галкин свято верит в него. Предание о Тверди небесной.

— Это что-то из старых книжек. Религиозных, кажется, тётъ Мань.

— Чтоб тебя. Коммунисты пока не верующие. Здесь как бы о другом. Я баба тёмная. Но Мартин всё время меня осветляет. Вроде как изредка в атмосфере могут возникать явления, благодаря которым на некоторое время может образовываться что-то вроде острова. По преданию, их далёкий предок побывал когда-то на ём, и с тех пор все Галкины его ищут. Даже что-то вроде проклятия. Им не верят, а те упёрлись. Задача каждого мужчины, во-первых, — продолжить род искателей, во-вторых уже, — искать.

— Мне-то что с того?

— Запал он на Лидку. А влюблённость воспринимается им как судьба. Так что ты не только ему поперёк горла, что сам орёл, а всему роду их тошному, прости господи! Ну самодуры, каких свет не видывал. Батяка его, муж мой, меня из зимы украл, и огонь укротил. Это к слову. Так что не обессудь, Вань. Прости ты его, дурака такого. Не на тебя он прёт, а на вечность.

\* \* \*

Вечером цветы били питьевым фонтанчиком из его каменной руки.

Мартин Сергеевич Галкин. Красавец лётчик-испытатель. Сегодня испытывает терпение начальства. На глазах которого провёл воздушную дуэль с бывшим однополчанином.

Лидочка. Туфель лодочек ещё не было, но у неё уже были.

Мартин Галкин дикий, как тайга. Лидочка сдаётся под его натиском сразу. Он ей нравится давно. Порыв его откровенный и неприкрытый. Что-то животное и в то же время искреннее есть в его страсти. Выросший Маугли.

И читает стихи. Хармса, а не Маяковского. И пьёт её глаза, а не алкоголь. И не обещает ничего, потому как умереть готовый в каждый новый день, как ночь, которая станет утром.

И так-то всю вечность, что отведена им под отчаянность...

\* \* \*

В дверь стучат. В дверь толкут. В дверь колотят. МГБ пришло за нашим лётчиком. Безопасность ищет его свободы.

Мартин орёт через дверь не своим голосом:

— Дайте закончить начатое, звери!

И гэбэшники затихают, и гэбэшники ждут до самого утра, пока лётчик-истребитель

созидает своей лаской новое неистребимое чувство. Не обращая на них никакого внимания, ибо смел этот Галкин как чёрт.

И нежен, как нибелунг.

Кровать с пружинным матрацем, набитым конским волосом, кровать из нового румынского гарнитура «Тюльпан», кровать не скрипела, но громко дышала людьми — её вдох, его выдох.

Под утро кровать задержала дыхание на вдохе.

— Пусть и в тебе утвердится что-то небесное, родная.

Он поправил одеяло на тихой.

— Спи, солнышко. Ты взлетишь с этой полосы с максимальной полезной массой.

Никакая смерть не остановит нас. Смерть никакая. Что она может против любящих людей? Я выйду за двери и пропаду. Но никуда не исчезну. Я заставлю их дать мне самую смелую машину, чтобы поднять её в воздух усилием нашей спаянности. Я буду уводить их подальше от тебя. Ты же в тишине своей жизни совершишь погружение, и в колоколе счастья достигнешь своего ядра. Смерть — это злое сусло. Но и она необходима для брожения жизни. Иногда я буду плакать прямо в полёте. Не в лицо, а куда-то в фонарь. Но это ничего не изменит и ничему не помешает. Жизнь в нас лишь часть чего-то большего. Жертвенность и любовь расширяют границы человеческого тела. Человек становится шире. А наследственность делает человека бесконечным.

Мёртвый человек иногда может больше живого. Например, спасти других. Пойду спасать.

Вышел, погнув зеркало своим отражением.

\* \* \*

— Товарищ полковник. Разрешите загладить вину. Разрешите экспериментальный образец поднять в воздух.

— Рано, Галкин.

— Я всё продумал. С нас всё равно требуют к годовщине революции сдать. А без испытаний на критических углах не успеем.

— А завалишь?

— А так программу сорвём.

— С другой стороны, от тюрьмы тебя только Герой (Святой Георгий) теперь бережёт, Галкин.

Главный конструктор покачал головой.

— В принципе, расчёты произведены. На стенде всё прошло штатно.

\* \* \*

Смерть — возможность реализующаяся: если ракета выпущена, то даже промахнувшись, она вернётся. В авиации используют ложную мишень, выбрасывая, как кальмар — чернила, тепловые ловушки. В жизни сложнее. Едва успел отвернуть от перебежавшего дорогу дурачка, тут же стекло запачкало разможжённое о лобовое насекомое. Размазалось и замерцало в углах смертью. Её остывающим топливом, разлившимся чуть, и радужной плёнкой, чуть заметно высыхающей рядом с пятном. Это смерть реализовала свою очередную попытку.

Мартин Галкин в высотном костюме надел гермошлем и захлопнул фонарь.

Оторвавшись от полосы, машина резко ушла вверх, послушная рукам своего жоютого.

Земля осенней выделки. Небо горит пришлым светом. Небо похоже на отражение Земли. Как тёмная вода, отражающая осенний лес, Небо стоит холодным зеркалом.

— Человеку нет возможности дышать на высоте девяти километров, а высочайший пик вписан аккуратно в это значение. Случай? Игра? Люди на пике своих возможностей могут достигнуть высочайшей вершины Земли. Совпадение?

---

*Алексей Малащенко*

## Женщина и Бог

*Рассказ*

— Боже мой, опять не работает, — воскликнула Лариса, чуть не выронив на асфальт телефон, слишком большой для её ладошки.

— Я здесь, — обнял её мягкий мужской голос.

— Ой, — покрутила головой Лариса. — Вот чёрт, кто это?

— Не стоит поминать его из-за телефона, — в голосе слышалось сочувствие.

Лариса ещё раз крутанула головой.

— Не волнуйтесь, — продолжил голос, — всё хорошо. Я вам помогу.

— В чём вы мне можете помочь?

— Я помогу с вашим телефоном.

В третий раз покрутила головой Лариса и опять буркнула: «Вот, чёрт возьми».

— Я ж просил не поминать его, — повторил голос. — Ради вашего же блага. И мне приятнее будет с вами общаться.

После этого совета Лариса машинально задрала голову, и голос, явно улыбнувшись, среагировал:

— Вы угадали. Обычно я действительно там, наверху, как принято меня рисовать, на облаке, но сегодня я здесь, внизу, с вами, людьми. Телефон работает?

Лариса придавила нижнюю клавишу — мобильник включился.

— Спасибо, а вы кто?

— Я — Бог.

Наступило молчание, которое нарушил назвавшийся Богом:

— Странно, да?

Лариса улыбнулась, приняв происходящее за розыгрыш. Она ждала, когда её собеседник, который, судя по голосу, должен был быть симпатичным, начнёт с ней знакомиться.

— Так вы кто? — повторила она свой вопрос.

— Я вам, Лариса, уже сказал.

— Бог, — подыграла она голосу. — А как вы узнали моё имя?

— Я же Господь Всемогущий, ведь так меня принято называть?

---

*Малащенко Алексей Всеволодович* — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама. Помимо статей, публицистики и воспоминаний «ДН» публиковала и его рассказы.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

— Если вы всемогущий, то почему боитесь показаться живьём?

— Как это?

— Телесно, — ответила Лариса и подумала, что она сказала что-то не то.

Воздух вздохнул, стал непрозрачным, сгустился, и Лариса обнаружила рядом с собой стройного, в клетчатом пиджаке молодого человека. Один рукав был чуть длиннее, и из него выглядывала свежая ладонь.

— Удивлены?

— Вы, оказывается, молодой.

— А почему я не могу быть молодым? Я же создавал вас по образу и подобию своему и имею право воплощаться по вашему образу. Быть молодым мне не запрещено. Посмотрите на моих античных предков. Зевс там, Аполлон, они же были мужчинами и хорошо по тем временам одевались.

— А женщиной вы быть можете?

— Никогда не буду. Не хочу.

Лариса успела обзавестись кое-какими гуманитарными знаниями, временами от скуки гладела в телевизор, иногда в канал «Спас», и потому возмущилась.

— Да кто вы такой, что мне голову морочите? Саваоф или как там тебя?

— Ну да, — ответили ей. — В Саваофа с бородой веришь, все верят. А в такого — простого, нестарого — нет. Я бессмертен. Тогда зачем мне вечно выглядеть старым и обязательно мудрым? Я не всегда был таким образованным. Тоже кое-чему учусь. У вас, у людей, учусь. Знаешь, сколько времени ушло на то, чтоб я стал Вельзевула в шахматы обыгрывать?

— А это кто, Вельзевул?

— Есть один такой. В меня веруешь, а как зовут моего главного недруга, не знаешь? Это всё равно как если бы ты болела за «Спартак», а про «Зенит» и не слышала.

— Если я правильно поняла, вы ещё и Христос, которого распяли на кресте?

— Обсудим в деталях, как это было, или?..

Ларисе стало стыдно. Она решила сменить тему, но неожиданно для себя спросила:

— Вы свою маму помните?

— Помню, — ответил Бог.

— И ваша мама, мать ваша — Богоматерь, которая на иконах?

— Что в этом странного? Что необычного?

— Да так, знаете. Маму вы помните, а как оказались святым духом, голубем, ну и вообще?..

— Это тебе действительно интересно, или просто из желания меня поддеть?

Женщина застеснялась, а потом отрубилась:

— Я в вас... я в тебя не верю. В вас всех трудно разобраться. То дух, то голубь, то с бородой...

— Не надо разбираться, даже верить не обязательно. Меня надо чувствовать.

— Так это ты создал землю и небо?

Мужчина посмотрел на свои руки.

— Говорят, что я.

— За семь дней?

— За сколько? — переспросил Бог.

Лариса одёрнула юбку, потому что ей показалось неприличным показывать Богу тугие коленки.

Бог заметил её движение и усмехнулся.

(Первое и последнее отступление. Читающий эти строки, как бы ты повёл себя, оказавшись на месте Ларисы? Рискнул бы поверить в живую встречу с Богом?)

Лариса же подумала: зачем ей нужен такой Бог, пусть даже симпатичный? Телефон у неё заработал, и хватит. С другой стороны, а почему бы и нет? Ведь Бог симпатичный, не хуже пристающего к ней Валерки и даже вечно ходившего в чёрной замшевой курточке Бориса, за которого, в общем, можно было бы и замуж выйти. Борис по пьянке обещал выполнить любое её желание, даже подарить бэ-эм-вэ.)

Он ей нравился, она машинально стала с ним заигрывать.

— Что бы ещё вы для меня сделали, ну хоть какую-то мелочь, если б я вас попросила? Грозу покажете?

Бог улыбнулся, сверкнула молния, и раздался гром.

— Ну, как?

Лариса посмотрела вокруг — ничто не изменилось, прохожие шли как шли и разговаривали между собой.

— Слышала я ваш гром, видела молнию, а остальные?

— Так это ж ты хотела. И получила.

— Вы гипнотизёр и...

Посреди равнодушного неба ударил жуткий раскат грома, прохожие оцепенели, и хлынул ливень.

Лариса промокла.

— Ну?

Пока она размышляла, гроза кончилась, все про грозу забыли, а её платье высохло.

— Поверила в Бога? Ладно, отправляйся по своим делам, про меня забудь. Вон такси подъехало. Будет надо — я явлюсь.

— Бог ты мой, — изумилась Лариса подъехавшей жёлтой шкоде, которой она не вызывала.

«Не поминай всуе», — прозвенело внутри неё, и она захлопнула дверцу машины.

Ей стало не до Бога. Она поправилась, и платье с вырезом, которое она задорого заказала, на неё не лезло. Подруга Нина приревновала её к Борьке, в больнице с нехорошим диагнозом лежал отец. Она сразу почувствовала себя никчёмной да ещё и оскорблённой тем парнем-богом, который над ней так классно посмеялся.

Лариса откинулась в кресле и вдруг увидела, что на панельке перед её носом написано «мерседес», она скривила губы, буквы тут же сложились в «Роллс-Ройс», она повернула голову назад и поняла, что это такой автомобиль, который она видела только в кино. Шофёром у неё был плечистый и красивый негр.

Лариса потрогала сумку, провела ладонью по коленям.

— Ну, как? — прозвучало у неё внутри. — Нравится?

Лариса зажмурилась и быстро открыла глаза. Она катилась в шкоде с не-негритянским шофёром.

Она обозлилась — поддалась гипнотизёру, развесила уши...

К её руке притронулись.

— Не волнуйтесь, ничего плохого не будет. Я с вами ещё побуду.

Она повернула голову — рядом никто не сидел...

Войдя в квартиру, Лариса уже не сомневалась, что случившееся с ней было потрясающим розыгрышем, устроенным одним её знакомым, у которого был приятель, кичащийся тем, будто он экстрасенс, а когда ему не верили, грозил показать чудеса.

Назавтра ей предстояло поехать в госпиталь к отцу, где его, ещё не старого полковника, лечили от самой печальной в мире болезни. Сейчас Ларисе не хотелось обо всём этом вспоминать.

Она плюхнулась в кресло и взяла со столика цветной журнал, засунутый в почтовый ящик рекламщиками. На первой странице светилась фотомодель.



«Новый образ Евдокии Гусятниковой», — прочла она. Гусятникова была хороша, вот только личико казалось излишне вытянутым и глазки смотрели слишком задумчиво для модели.

Лариса не то чтобы позавидовала, но примерила на себя Гусятникову и машинально взглянула в зеркало. В зеркале отразилась Гусятникова со слегка округлившейся мордашкой и в Ларисином платье.

— Боже мой, — прошептала Лариса и тут же услышала:

— Так лучше, и на будущее: не вздумайте менять внешность, вы мне нравитесь такой, какая вы есть.

— Спасибо, — ответила она в никуда.

Потом она отправилась на кухню, включила чайник, а когда он закипел, капнула кипятком на пальчик.

— Ах, боже мой, — пробормотала она.

Там никто не прореагировал, и пальцу было больно.

«Кажется, до чайника он не дотягивается, слава богу, отстал».

Она выпила чашку зелёного чая, переоделась. Время текло медленно, делать в доме было нечего. Лариса заглянула в холодильник, еды хватало, идти в магазин было незачем. Телефон молчал, лазить по сайтам наскучило. Книги читать она почти разучилась.

Лариса поймала себя на мысли, что ей не у кого и нечего попросить. Хотя она ничего и не просила. Да и у кого просить? Но забыть о том, что с ней сегодня произошло, она не могла. А если всё-таки чего-то попросить, если просто помянуть его всеу, что тогда?

Тут ещё зуб опять дёрнулся, чёрт бы его побрал...

— Я просил: о нём — ни слова. Так и быть, последний раз прощаю...

— Боже мой!

Зуб прошёл.

— Вы ещё и доктор?

— Врач. Но это в последний... в предпоследний раз, ясно?

Заиграл мобильник.

— Здравствуйте, вас беспокоят из госпиталя. Могу я поговорить с Ларисой Владимировной?

— Слушаю. Что случилось?

— Лариса Владимировна, не волнуйтесь. Ничего плохого не случилось. Наоборот. Опухоль у вашего папы оказалась незлокачественной. Он пойдёт на поправку.

Лариса растерялась, хотела что-то спросить, но не сообразила, что в таких случаях спрашивают.

Она промямлила «спасибо, ой, спасибо» и благодарно кивнула.

— Слава тебе, господи, — выдохнула она без всякого умысла.

— Вот это был последний раз.

Вечер она прожила одна. Несколько раз включала телевизор. Но там всё время пели, скандалили о наследстве и размышляли об эпидемии. Смотреть нормальные, хорошие фильмы сил не хватало: там надо было думать. Думать же не хотелось.

Утром, проснувшись, она сразу почувствовала, что всё замечательно: она красива, мобильник не ломается, отец выздоравливает. Что ещё надо?

Она ошибалась. Как всякой нормальной женщине, ей захотелось испытать своего... скажем, того, кому она нравилась и кто нравился ей, будь то бог или даже экстрасенс-гипнотизёр.

Однако, лёжа в кровати, в ночной сорочке, общаться с посторонним мужчиной, пусть и мысленно, было неприлично. Да и, наверно, нет его. Ушёл как сон.

Лариса упёрлась босыми ногами в гладкий чистый пол, решительно встала и отправилась в душ. Она хотела холодный. Заранее поёживаясь, прыгнула в ледяные струйки и чуть не брякнула: «Боже, как холодно!»

Из-за двери раздалось покашливание. Вода стала чуть теплее.

Лариса вымыла голову, вымылась сама, быстро вытерлась розовым полотенцем, брызнула на себя спреем и толкнула дверь.

В квартире, кроме неё, не было никого.

— Ну? — услышала она свой голос.

— Вам было холодно, а нагреть воду — пустяк, который не в счёт.

— Пустяк, — повторила Лариса, — а не-пустяк сделаете? — И добавила: — Если я очень попрошу?

Сам собой заработал телевизор. Равнодушная дикторша сказала: только что поступило сообщение о прекращении боевых действий на границе между... Таким образом удалось избежать новых многочисленных жертв. Информацию она закончила словами: «Слава богу!»

— Значит, ты можешь прекращать всё...

— Нет.

— Отчего?

— Я вас сделал, сотворил, а дальше уж сами — любите, убивайте...

— Это бессовестно. Создал нас по своему подобию и бросил. Сам — хороший, добрый. А мы... Может, мы на самом деле не от тебя, а от обезьяны?

— Хватит, занимайтесь своими делами.

И она занялась.

День ей предстоял долгий — съездить к отцу в больницу, забежать в «Зару» ещё раз примерить платье, приглянувшееся в прошлый раз, встретиться и посидеть где-нибудь с Милкой, с которой они не виделись больше месяца, ну и ещё кое-что по мелочам. А вечером её ждал Борис в чёрной замшевой куртке, у которого собиралась компания их общих знакомых.

Всё прошло по плану, и в семь часов в предвкушении весёлого ужина она отправилась к Боре.

Она пришла первой и, как тут же обнаружилось, последней и единственной.

«Ну и пусть, — решила Лариса. — В конце концов, надо когда-то с ним попробовать. Тем более Борис вёл себя столь вежливо, что можно было подумать, будто она явилась сюда исключительно ради светской беседы.

Разговор между друзьями затягивался. Лариса даже подумала, не взять ли ей инициативу на себя. Но что-то мешало, и она догадалась, что: они были не одни. Она почти разглядела сидевшую в кресле у окна мужскую фигуру.

«Зачем он здесь, может, ревнует?» — от нелепой мысли она усмехнулась.

Борис понял её усмешку по-своему. Он встал, зашёл сзади и положил ей руки на грудь. Лариса его не остановила. Она поджала под себя ноги в красных туфельках. Фигуры в кресле она уже не видела.

«Отношения» начинались. Кресло оставалось пустым, Лариса расслабилась. «Отношения» продолжились и стали продвигаться к финалу. Борис вздохнул, издал протяжный, почти бабий звук и замер.

Женщина тоже замерла, но уже от обиды, перешедшей в раздражение. «Ну, ещё, дай Бог».

— Это слишком, — пришло из кресла. — Прощайте.

Лариса повернулась на правый бок, спустила с кровати ноги, отправилась в душ. Они сели пить кофе из голубых чашек. Потом она стала прощаться, потом доехала на такси до дома. Дома достала мобильник, телефон был разряжен.

Александр Орлов

## Во всём исчезнет суета

\* \* \*

Мой в прошлое билет давно просрочен.  
Без страха отправляюсь в никуда,  
И будет график расставаний точен,  
Сойдут на небо с рельсов поезда.

Сойду один на звёздном полустанке,  
Схожу в кино, потом куплю пломбир,  
Найду в снегу раскатанные санки,  
Промчусь обратно в забытый мир.

И я во время взлётного разгона,  
Набора в неизвестность высоты,  
Найду друзей и в толчее вагона,  
Мы перейдём по-дружески на «ты».

И будут мне доверчиво и строго  
Напоминать о взлёте облака,  
Что на земле я в чине рядового  
Был призван в православные войска.

\* \* \*

*Святому блаженному Константину Новоторжскому чудотворцу*

Первоснежья ледяные крохи  
С лёту у моих ложатся ног,  
Я бы вместе с ними рядом лёг,  
Костеня на следах эпохи.

И по мне бы пролегла дорога,  
Что ведёт скитальцев до суда,  
От простора жизни сквозового,  
Где замёрзли счастье и беда.

И морозы времени в сугробы  
Всё живое обращали вмиг,  
И метели, холода, зазнобы,  
Словно вдовы поднимали крик.

Но босой идёт домой по снегу,  
Богом поцелованный хромец,  
Растопивший тысячи сердец  
И зимы всеильную опеку.

---

*Орлов Александр Владимирович* — поэт. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище №1 им.И.П.Павлова, Литинститут им. А.М.Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории в московской школе «Загорье». Автор семи книг стихов и трёх книг малой прозы. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

\* \* \*

Я принял жизнь. Я был доверчив...

*Алексей Прасолов*

Во всём исчезнет суета,  
Когда в исканиях приюта  
Познаешь ты в себе Христа.  
Из великана в лилипута  
Ты превращаешься, и вдруг  
Нетленная горит гордыня,  
И ты твердишь молитвы вслух,  
И заполняется пустыня  
Разливами великих рек,  
И видится: идёт по полю  
Рождённый горем человек,  
Познавший бедность и неволю.  
Окрикнешь ты его вослед,  
И он устало обернётся.  
И через много прошлых лет  
Твоей души первопроходца  
Узнаешь ты в его глазах,  
И, как положено бродяге,  
Он разглядит в твоих стихах,  
Где плачут буквы на бумаге.

\* \* \*

Мы — последние этого века...

*Владимир Костров*

Так было прежде: мы с тобой вдвоём,  
Попарно, как и следует поэтам,  
Идём — и в многолюдье мировом  
Становимся единым силуэтом.

Покажется: всё было — и прошло,  
И сорок лет не разделили даже:  
Сплотило нас святое ремесло.  
Мы делаем глотки из вечной чаши.

Рождаются за мыслями слова.  
Свидетелями подлинного чуда  
Становимся и после волшебства,  
Не изменяя верного маршрута.

В слиянье дней — живая простота,  
Как много в ней движенья неземного!  
Мне верится, что даже у Христа  
Есть время для Владимира Кострова.

*Александр Васькин*

## «Возможно, мне дадут Госпремию»\*

*Советские писатели в очереди за наградами*

«Шутка сказать, наградная инфляция превратила орден Ленина *во второстепенную награду*».

*Александр Твардовский. Из дневника, 29 мая 1970 года*

Долгое время в Советском Союзе главным критерием успеха писателей было количество полученных ими сталинских премий. Рекордсменом был шестикратный лауреат Константин Симонов, пятикратным — Александр Корнейчук (поди-ка сейчас вспомни, кто это такой, осталась в Москве лишь улица в честь этого украинского драматурга, хотя в Киеве уже давно всё переименовали — и проспект, и станцию метро). Сталинские премии были учреждены до войны двумя постановлениями — в декабре 1939-го и в феврале 1940-го, по двум направлениям: в области науки и культуры и отдельно по литературе, что подчеркивало внимание власти к писателям. Лауреаты получали диплом и значок с ликом учредителя, т.е. самого Иосифа Виссарионовича. Выплачивались премии из специального фонда, куда стекались гонорары за издание сочинений вождя народов (какая щедрость!). Соответственно, это можно расценивать как поощрение или подачку (каждому своё) лично от Сталина, а даже не от всего советского народа. Постепенно сложилась следующая система премий: лауреаты первой степени получали 100 тысяч рублей, второй — 50 тысяч, третьей — 25. В год своего семидесятилетия корифей всех наук учредил ещё и Международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами». Награждали много и часто, особенно писателей и кинооператоров (Сталин любил смотреть кинохронику). Среди литераторов было немало дважды и трижды лауреатов. После войны возникла даже «мода» на многократных лауреатов.

По этому поводу хочется процитировать трижды сталинского лауреата Александра Твардовского: «Практика ежегодных присуждений сталинских премий, может быть, создала такие условия, что наша критика не имела возможности осмысливать явления литературы в свете её большого исторического развития, в разрезе десятилетий.

---

*Васькин Александр Анатольевич* — писатель, культуролог, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет печати. Лауреат Горьковской литературной премии (2009), лауреат конкурсов «Лучшая книга года», лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского (2019), автор множества публикаций и книг. Печатался в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Живёт в Москве. Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2019, № 3.

\* Глава из книги «Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки», готовящейся к печати в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Повседневная жизнь человечества».

По крайней мере, это делалось очень редко. У нас была как бы только литература года. На этот год, вне исторического контекста, направлялось внимание», — запись от 12 декабря 1954 года. Мысли Александра Трифоновича перекликаются с сегодняшним днём — ведь у нас так же каждый год объявляют «литературу года». Проходят пятилетки, и попробуй вспомни, кого там объявляли очередным «выдающимся писателем» десять лет назад.

По этому же поводу сетовал Михаил Пришвин в своём дневнике 7 июля 1951 года: «Госпремия гасит свободную личность, трудовую, и превращает её в государственного невольника, обязанного быть довольным своим положением. Стон и недовольство исходят от тех, кто не получил премии. Выход у них один: получить премию. И они, стараясь больше и больше, получают её рано или поздно. Так что премия является кнутом лауреата, подгоняющим невольников». Для кого кнутом, а для кого и пряником! Сам Михаил Михайлович так и не получил ни одной премии, ни рано, ни поздно. Но разве это важно для нас, его читателей?

Смерть вождя в 1953 году пресекла полноводный поток награждений, как Днепрогэс великую украинскую реку. На некоторое время возникла даже пауза, насторожившая не только привыкших к раздаче подарков писателей, но и представителей других творческих цехов и «областей народного хозяйства». Волноваться пришлось недолго. Уже в 1956 году была возрождена ежегодная Ленинская премия, вручавшаяся учёным, изобретателям, научным работникам, архитекторам, артистам, а заодно и писателям «за выдающиеся произведения литературы и искусства», как говорилось в соответствующем правительственном постановлении. Впервые эта премия была учреждена ещё в 1925 году, но просуществовала всего десять лет по понятной причине — установление культа живого вождя, оттеснившего в народном сознании усопшего «вождя мирового пролетариата».

С 1956 года в порядок присуждения Ленинской премии периодически вносились изменения, но в целом смысл её оставался прежним, как и было задумано изначально. Её вручали за выдающиеся достижения в области науки и культуры. Лауреаты премии получали диплом и золотой почётный знак с профилем Ильича. Вся работа по рассмотрению претендентов и их достижений на премию была возложена на Комитеты по Ленинским премиям — в области науки и техники и в области литературы и искусства. Списки представленных на соискание премии и отобранных комитетами для дальнейшего обсуждения работ публиковались в центральной печати. И в этом видится определённый демократизм даже по сравнению с нынешними временами, когда всё стало более узко и келейно.

Романы и повести кандидатов можно было прочитать в журналах и книгах, а вот если выдвигались, к примеру, художники, то их картины выставлялись для всеобщего обозрения. Таков был порядок: «В субботу был на выставке картин, представленных на госпремию: убожество удручающее. Выставка туркменской живописи по случаю 60-летия республики: ни одной живой души. Один я пробежал по залам. Зачем такое устраивают? Демонстрация антиинтернационализма», — отметил сотрудник ЦК КПСС Анатолий Черняев 15 октября 1984 года, впоследствии помощник первого президента СССР М. Горбачёва.

Объявление имён лауреатов приурочили ко дню рождения Ильича, в апреле. Первым среди писателей получил Ленинскую премию в 1957 году Леонид Леонов за роман «Русский лес», а Муса Джалиль удостоился этой награды посмертно за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». В 1959 году лауреатами стали Мухтар Ауэзов за роман «Путь Абая» и Николай Погодин за драматическую трилогию «Человек с ружьём», «Кремлёвские куранты», «Третья патетическая». В 1960 году Ленинской премии удостоились Максим Рыльский, Мирзо Турсун-Заде и Михаил Шолохов (за роман «Поднятая целина»). Что бросается в глаза: обязательное соблюдение принципов социалистического интернационализма и дружбы народов. Среди

награждённых непременно должны были присутствовать представители национальных литератур. И так было из года в год.

Например, в 1961 году лауреатами стали москвич Александр Твардовский, ленинградец Александр Прокофьев, украинский писатель Михаил Стельмах и эстонец Йоханнес Смуул. А в 1962 году вместе с Корнеем Чуковским премию разделили белорус Петрусь Бровка и литовец Эдуардас Межелайтис. Таким образом, вручение премии преследовало не только поощрительные цели, но и сугубо идеологические — достижение некоего «культурного» баланса: один-два писателя из центра, остальные из союзных республик, что демонстрировало опять же мудрость «ленинской национальной политики» (прямо как нынче на американской премии «Оскар» — только там всё зашло гораздо дальше!).

12 апреля 1962 года Чуковский в Переделкине записал: «Сейчас в три часа дня Александр Трифонович Твардовский, приехавший из города (из Ленинского комитета), сообщил, что мне присуждена Ленинская премия. Я воспринял это как радость и как тяжкое горе. Чудесный Твардовский провёл со мною часа два... Оказалось, что провалились Н.Н.Асеев, Вал.Катаев. Я — единственный, кому досталась премия за литературоведческие работы. Никогда не здоровавшийся со мною Вадим Кожевников вдруг поздоровался со мною. Всё это мелочи, которых я не хочу замечать». Вот Вам и первая ласточка: стал здороваться Кожевников! Какое счастье! А поздоровался он не потому, что зауважал Корнея Ивановича, а потому, что с лауреатами Ленинской премии здороваться надо по статусу. Так что это вовсе не мелочь: не хочешь, а заметишь Чуковского. А ось и самому Кожевникову премию дадут...

Хорошо, что Твардовский (член комитета) не сказал Чуковскому всей правды: что тот мог бы и не получить премию за свою книгу «Мастерство Некрасова», ибо против выступал ЦК КПСС, в недрах которого родилась записка о «нежелательности выдвижения на Ленинскую премию К.И.Чуковского». В дневнике от 13 апреля 1962 года Твардовский раскрывает подробности: «Съездил в город 11-го на 12-е, проголосовал, подписал протоколы в Комитете, привёз Чуковскому премию (он и не подозревает, что не будь моего, т.е. одного ещё, сверх 70, голоса, он бы остался без неё)».

Сходные мысли посещали и другого писателя, члена комитета от Украинской ССР Олеся Гончара. Гончар — один из главных советских украинских «письменников» — начал вести дневник после войны, на украинском языке. Уже после смерти писателя его вдова издала в 2002—2004 годах все три тома. У нас в стране эти дневники почти не известны и не переведены, что значительно обедняет источниковедческую базу по теме советской повседневности (и жизни писателей в т.ч.). В этой книге они впервые обширно цитируются и комментируются, для чего мне пришлось перевести их на русский язык (благо, что не с албанского).

5 апреля 1962 года Гончар отметил в своём дневнике: «Третий день работает Комитет. Пересеивает претендентов. Сколько чёрных страстей бушует в эти дни! Нажимаются все кнопки, все рычаги знакомств и протекций, люди что-то гадают, прикидывают, выторговывают <...> В водовороте распрей и страстей нередко забывается главное — само произведение, выставленное на обсуждение; оказывается — не это ли здесь самое главное, и мысль читателя, зрителя — зачем она здесь? Уже завалили одного, второго, третьего <...> Соискатели ходят под окнами, как тени, ведрами пьют валидол, а мы — шкаликами водку (в коротких перерывах между заседаниями). Расул [Гамзатов] когда входит в зал заседаний — вокруг сразу повеет густой дух спиртного <...> Сразу же и берёт слово, чтобы величать Чуковского. Не хватает кворума. Ждём Суркова. Вот он влетает, сердитый, окрысенный, в разных ботинках (один на резине, второй — на коже).

— Слава Богу! — говорит Прокофьев.

— Вы скажите "слава Богу" Шолохову, который никогда у вас не бывает!

Сурков — стреляный лис. При всей внешней самостоятельности суждений хорошо знает, кому в рот заглядывать. И заглядывает.

— Катаев?.. Как? Оставляем? О, конечно! Такая вещь! Нас бы не поняли!..

А в закулисье то же Сурков:

— А Катаев?.. Что это такое? "Белеет парус" — это жилет, к которому пришиты огромные рукава, волочатся хламидой по земле <...> Вот его тетралогия! А вообще — наш Комитет? Но это же рынок, "ярмарка тщеславия"! Торговля напропалую идёт! Вспомнилось, что Сурков этот как-то написал сам себе такую эпитафию:

Пошто грозите ему адом,  
Забыв его земной удел?  
Всю жизнь свою он голым задом  
На муравейнике сидел!

Под "муравейником" следует понимать московскую писательскую организацию. Кстати, вчера она снова завалила предложенных в правление (на перевыборах) Л.Соболева, Поповкина и др.

..Два вечера подряд просмотры: ансамбль Игоря Моисеева и академический хор Свешникова. Ансамбль — эффектный, блестящий, выступает в бешеном темпе <...> Но интересует постановщика, видно, больше экзотичность танца, чем народная его основа. Сегодня секция композиторов выступила на обсуждении — против. С.С.Смирнов, как неумолимый демагог, сразу же выступил «с недоумением»:

— Меня удивляет позиция секции... И смущает... И непонятно... И я в недоумении... и т.д.

Выступил Шостакович и нервно, перебирая клавиши пуговиц, взволнованно объяснял, почему он против. И потом при голосовании, хотя весы склонились уже в другую сторону, его рука мужественно и одиноко торчала в воздухе, отстаивая своё. Я просто влюблён в этого человека. Честный, принципиальный». Занятное чтение...

Гончар, кстати, утверждает, что Шолохов в 1960 году не приехал получать Ленинскую премию в положенный день. Он пишет, что Шолохов сидел в Ростове со своими друзьями за столом, когда ему передали, что звонит Екатерина Фурцева с призывом явиться в Москву. Михаил Александрович отказался: «Не хочу я получать премию вместе с футбольной командой... Не полечу!» И не полетел. И это соответствует действительности. О какой футбольной команде он говорил? О «Спартаке», о «Динамо»? Быть может, «ЦСКА»? Нет. Футбольной командой Шолохов назвал авторский коллектив книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н.С.Хрущёва в США», состоявший аж из двенадцати человек! Первым по списку Алексей Аджубей. Хотя первым он был тогда не только по списку — зять самого Хрущёва! Непонятно только, под каким углом он обозревал поездку тестя: как главный редактор «Известий» или как член семьи первого секретаря ЦК КПСС? Возможно, что под обоими углами. А «футбольная команда» получила-таки премию. Двенадцать человек одного не ждут.

Участие в сессиях комитета давало возможность киевлянину Гончару узнать свежие политические анекдоты: «За что нам дали золотую медаль в Токио на олимпиаде? — За прыжок с высоты». «Культпросвет — что это такое? — Маленький просвет между двумя культурами». «Содержание бесконечных речей Хрущёва журналисты передают коротко: "Дела у нас идут хорошо, но голода не будет"». Дела в стране шли плохо: появились очереди за хлебом уже в самой Москве, а не только в провинции...

А вот Александру Солженицыну получить Ленинскую премию за «Один день Ивана Денисовича» было не суждено. Весной 1964 года на заседаниях комитета развернулась почти кровопролитная баталия, отголоски которой доносились довольно далеко за пределы установленных рамок. Среди коллег у Александра Исаевича нашлось немало болельщиков, впрочем, равно столько было и тех, кто ставил на проигрыш. Анатолий Жигулин 27 марта 1964 года пишет в дневнике: «Сейчас очень



мрачная полоса. Опять клюют Солженицына в “Лит<ературной> России”. И, что наиболее гнусно, клюют бывшие лагерники, сами отбывшие сроки порядочные. Один пишет, что <...> повесть Солженицына не может, дескать, служить идейным оружием. И подпись: член КПСС с 1919 года, такой-то. Мало сидел, наверное. Не набрался ума. Или наоборот — из ума выжил. А редакция знает, чьи письма публиковать! Но ничего, Солженицын всё равно велик, как бы эти дегенераты ни тявкали».

11 апреля 1964 года: «Плохи дела и у Солженицына. Прошли было слухи, что ему дадут премию, но — увы! — нынче в “Правде” большая, гнусная подборка отрицательных писем читателей об Иване Денисовиче. И это перед самым тайным голосованием! Нечестный и подлый удар! <...> Чёрт с ними! Пусть не дают Ленинскую премию! Всё равно Солженицын великий писатель! Получит Нобелевскую. Кстати сказать, говорят, что его уже выдвинули на Нобелевскую премию. Может быть, именно с этим связана подборка в “Правде” <...> Вряд ли у Ивана Денисовича есть тайные доброжелатели, которые не могли проявить свои чувства открыто. Скорее, наоборот. Да, многим он стал костью поперёк горла».

«Письма трудящихся» — излюбленное средство борьбы с инакомыслящими в советское время. Сколько же места они занимают в Российском государственном архиве литературы и искусства — полтора десятка томов! Ни об одном другом кандидате, кроме Александра Солженицына, столько писем трудящиеся не писали. Называется всё это сегодня «Письма-отзывы читателей о кандидатуре, выдвинутой на соискание Ленинской премии». Аж три тысячи листов. Об этом также пишет Александр Твардовский, непосредственный участник событий. Наиболее показательной является запись от 14 апреля 1964 года в его дневнике:

«Сегодня еду голосовать, участвовать в акции заведомо незаконной, происходящей в нарушение элементарных норм общественной демократии, т.е. в гнусном деле, и иначе не могу поступить в силу только “божественного закона” партийной дисциплины: такова воля ЦК, недвусмысленно выраженная в ред<акционной> статье “Правды” и “мероприятиях” по обеспечению недопущения кандидатуры С<олженицы>на в список для тайного голосования. Что же, собственно, произошло и происходит? То, что подступало уже давно, издавека, сперва робко, но потом всё смелее — через формы “исторических совещаний”, печать, фальшивые “письма земляков” и т.п., и что не может быть названо иначе, как полосой активного, наступательного снятия “духа и смысла” 20-го и 22-го съездов. Что произошло и происходит фактически. Премия этого года принадлежит единственно Солженицыну — это подтвердили его враги, опасения которых перед результатами голосования были столь основательны (несмотря на активность “бешеных”), что они пошли на прямую фальсификацию, на ложь...

Ссылка на “народ”, на “большинство писем читателей” — ложь и мерзость. Большинство — и решительное! — письма восторженные, благодарные, умные — и они истинная ценность, в отличие от писем “против”, которые делятся на две категории: 1) от недомыслия и привычного следования сигналам “бдительной критики” и 2) от ощущения или сознания того, что эта повесть то новое, что беспощадно разворачивает твердыни прошлого. Кто на К<омите>те был активно, открыто за или против кандидатуры Солженицына (из литераторов)? За — крупнейшие писатели нац<иональных> литератур: Айтматов, Гамзатов, Стельмах, Токомбаев, Н.Зарьян, М.Карим, Марцинкявичюс, Лупан — из них трое — лауреаты Лен<инской> премии (всего — 4). Против — бездарности или выдохнувшиеся, опустившиеся нравственно, погубленные школой культа чиновники и вельможи от лит<ерату>ры: Грибачёв, Прокофьев, Тихонов, Ив.Анисимов, Г.Марков (полтора лауреата — Прокофьев и Грибачёв).

Что говорить о роли чиновников от искусства — министре Романове, Т.Хренникове или постыдной роли бедняги Титова, выступившего “от космонавтов”, как Павлов “от комсомола”. О последнем не речь, но Титов сказал нечто совершенно ужасное

*Диана Светличная*

## Туда и обратно

*Это эссе было получено «ДН» в прошлом году и запланировано в апрельский номер. Мы решили оставить его, ничего не меняя, — как несожженный мост.*

### *Автобус Кишинёв — Одесса*

Центральный автовокзал Кишинёва серый, неуютный, пустой; тесный ряд крошечных магазинов с бесполезным товаром, закрытые окошки касс. Пахнет автомастерской, резкими духами, жареным пирожком. Раннее утро, небо затянуто тучами, на парковке одинокий автобус. «Современный автопарк с повышенным уровнем комфорта, включающим бесплатный интернет на всем пути следования», — написано на сайте автовокзала. Над парковкой ветер гоняет бумажный лист, несчастный машет своими острыми краями, тычется в урны, двери, бордюры, приподнимается и падает. Вокруг автобуса ходит черный ворон, смотрит умными глазами по сторонам, обходит масляные лужи, инспектирует мусорные баки; ворон может взлететь, преодолеть сотни километров, может жить у моря или в лесу, но ему никуда не нужно, ему хорошо здесь.

У автобуса стоит женщина в белых шортах и черной майке, с удовольствием курит и поминутно проводит рукой по коротко стриженной голове, наверное, недавно постриглась и ей нравится это новое ощущение.

— Товарищ водитель, вы доставите нас на Центральный или на Привоз? — с характерным одесским акцентом обращается женщина к водителю. Водитель невозможно красивый, напоминающий сразу всех итальянских актеров, поправляет на тонком запястье золотой браслет и, ровно держа спину, спускается по ступенькам из автобуса. На нем светлые туфли, узкие брюки, футболка-поло. Он знает, что неотразим, и смотрит поверх пассажиров.

— На Центральный, — сухо отвечает он на чистом русском.

На лобовом, под табличкой «Chisinau-Odessa», два номера: один с кодом Молдовы, второй — Украины, под номерами капслоком «ЮРИЙ».

Разглядываю лицо водителя: густые брови, длинные ресницы, выразительно очерченные губы, глаза не блестят. Сколько же вы проехали, Юрий?

Рассаживаемся неторопливо, как в замедленном видео. Большая половина мест в автобусе пустые.

---

*Диана Светличная (Горайнова Юлия) родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподает в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете журналистики. Печаталась в журналах «Идиот», «Слово Кыргызстана», «Идель», «Лампа и дымоход» и других. Живет в Бишкеке.*

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 6.

— Водитель, у нас электронные билеты, посмотрите, — говорят вошедшие мужчина и женщина. Женщина худенькая, прическа под мальчика, голос высокий, звонкий.

— Что мне на них смотреть? Я смотрю только на бумажные, — отвечает Юрий и идет по проходу, считая людей. Проходя мимо женщин постарше, он чуть морщит нос и кривит губу. Молодым пассажиркам как будто улыбается, но указательный палец при счете направляет и на тех, и на других.

— И что нам теперь делать? — взлетает к потолку высокий голос девушки «под мальчика».

— А я откуда знаю? — упиваясь своей властью, отвечает водитель, делая запись в блокноте. Так вот вы какой, Юрий.

— Только спокойно, — низким голосом просит девушку «под мальчика» спутник — длинноволосый, крупный мужчина.

Между обладателями электронных билетов и водителем начинается разговор на повышенных тонах, они выходят из автобуса, идут к кассам, то сходятся, то отдаляются друг от друга, машут руками, приподнимают подбородки, шевелят губами, их лица искажаются гримасами.

— Вот зачем они делают ему нервы? Нам же еще ехать! — сокрушается пожилая дама, сидящая сразу за мной.

— Идиоты, — поддерживает ее муж.

Через несколько минут молчаливая троица возвращается. Возбужденная пара проходит в глубь автобуса, водитель заводит двигатель.

— Водитель, а что у нас с интернетом? — спрашивает молодой человек, сидящий впереди меня и беспрестанно целующий в макушку свою девушку.

— Что у вас с интернетом, я не знаю, а у нас его ukrала какая-то сволочь. Вот тут стоял роутер. — Юрий обводит рукой воздух, кивает человеку в пластиковой будке на выезде с автовокзала и включает русскую попсу девяностых.

За окном плывут торговые центры, парки, старые дома, снова парки, здания промзоны. Окраины Кишинёва не отличаются от окраин сотен других постсоветских городов: памятники, указатели, надписи на крышах домов — все в едином порыве, все большой, сильной рукой.

Женщины с передних сидений громко спорят о каком-то снесенном памятнике, «Ласковый май» глушит часть разговора, фамилия сброшенного с корабля современности тонет в слезах Шатунова.

— Ленина тоже убрали, и ничего, — звучит в паузе между куплетами.

— Так его памятники были на каждом углу, а (снова голос Шатунова) был один и наш, могли бы и оставить.

Шатунова сменяет Буланова, Буланову — Королёва, Королёву — Леонтьев. Ловлю себя на том, что притопываю в такт мелодиям и знаю все тексты песен из водительской подборки. За окном много зеленого, желтого, на горизонте виднеется море. Я щурюсь, напрягаю зрение, прислоняюсь лбом к стеклу — нет, оптический обман — полоска неба между полями и облаками морочит мне голову, подсовывая мираж.

Одна за другой плывут деревушки, поля, виноградники. Головастые подсолнухи тянутся километрами, между ними болтаются кукурузные острова. Я немного жалею, что нельзя остановиться и сделать фотографию этого, этого и вон того.

Автобус едет не спеша, несколько раз водитель замедляет ход и на минуту тормозит у обочины, отвечая на телефонный звонок. Я начинаю понимать, почему двести километров по расписанию занимают пять часов.

— Сейчас будет хороший кофе и бесплатный туалет, — второй раз за час предупреждает водитель. Пассажиры дружно выходят на асфальтированную площадку, потягиваются, курят, кто-то бежит за кофе.

— Леночка, ты хотела увидиться-посидеть, так вот у тебя есть такой шанс. Я сегодня в обед буду в Одессе на Центральном вокзале, так ты возьми с собой Галочку, и приезжайте за мной. — Женщина в белых шортах в одной руке держит сигарету, в другой телефон. Мне кажется, ей очень хочется провести ладонью по своей коротко стриженной шевелюре, это должно быть приятно.

— Женщина, сколько от вас шума, — возвращаясь из бесплатного туалета, замечает дама — жена мужчины без собственного мнения.

— Я не расслышала, женщина, это вы мне? Нет, это я не тебе, Леночка. Тут со мной в автобусе нервные, — говорит короткостриженная и выбрасывает сигарету в урну.

В следующий раз автобус останавливается у магазина с пирожками и мороженым. Женщины в магазине расцветают при появлении Юрия, выворачивают в его сторону шеи, посылают томные взгляды, по-кошачьи урчат. Юрий павлином идет к холодильнику, достает оттуда мороженое, рассчитываясь, острит на тему жаркого дня, женщины хором смеются.

Вслед за Юрием к прилавку подходят белые шорты, пытаюсь попасть в тон настроению продавщиц, указывают пальцами на товар.

— Положь мне, милая, самых вкусных с картошкой, с луком-яйцом и с грибами. Шоб мне не стыдно было за Молдову.

Продавщицы закатывают глаза, криво улыбаются, переглядываются между собой.

Снова поля подсолнухов, кукурузы, виноградники, перелески. Вновь кромка неба притворяется морем. Дорога ровная, гладкая, легкие подъемы и спуски, из динамиков — русский шансон.

— У всех есть страховки? — за время нашего пути Юрий превращается в пионервожатого. За 200 (валюта не называется) он организывает нужные документы нескольким «растяпам», которым «лучше бы голову забыть».

В автобусе начинаются разговоры про то, как «в прошлый раз шмонали чемоданы», «смотря на кого нарвешься», «а вот у нас был случай»...

— Меня в прошлый раз задержали с тремя детьми, разрешение от отца требовали, а отец раньше нас в Одессу уехал, как я им разрешение сделаю? — начинает молчавшая всю дорогу пассажирка с неровно покрашенными корнями волос. — Я-то еду по программе переселения и как многодетная мать. У меня своя первая дочь, вторая у нас с мужем совместная, а третья неожиданная. Я про нее узнала, когда она пинаться начала. Мне уже почти сорок было, я и подумать не могла, говорю мужу: как будто в животе что-то шевелится, он смеялся-смеялся, досмеялся. Я с тех пор каждый месяц проверяюсь.

— Почему мы должны это слушать? Кто-нибудь, закройте ей рот, — отзывается женщина за моей спиной. Ее муж в поддержку цокает языком.

— Вот сейчас продаю под Одессой домик, даже за пятнадцать тысяч долларов никто не берет, — не обращает внимания на реплики недовольных многодетная мать.

— Никогда Украина не была такой бедной, — включаются в разговор белые шорты. — Я раньше на украинскую зарплату в триста долларов могла себе в Молдове позволить все что угодно, сестру содержала, племянницу.

— Они никогда не замолчат, — делает вывод женщина за моей спиной. — Миша, звони им, пусть что хотят делают, раз поставили тебе имплантаты, должны принять. Или я сама им позвоню, они у меня на голове стоять будут!

— Товарищ водитель, а вы сделаете остановку на дьоти фри? Скажете мне, да? — требуют белые шорты.

Показывается пограничный пост, автобус останавливается. В салон входит крошечная черноволосая девочка в синей форме, форма ей очень идет. На улице стоит такой же маленький молодой человек в форме и с автоматом. Мини-пограничники

быстро собирают у всех паспорта, относят их в мини-будочку и через несколько минут раздают обратно.

Автобус трогается и, прокатившись несколько метров, снова встает у будочки из красного кирпича с надписью «Україна». Здесь пограничников больше, выглядят они постарше и посуровее. В глаза бросается их защитного цвета форма и серьезность намерений. Юрий открывает багажники с чемоданами, и пограничники ведут к ним молодую, веселую дворнягу. Собака виляет хвостом и не желает выполнять свои обязанности. Человек с усталым лицом направляет собаку в сторону багажа, она подпрыгивает, извивается, хочет играть. Посреди границы в позе огородника стоит полная женщина и собирает сорняк, пробивающийся сквозь расщелины тротуарной плитки. У женщины в руках большой холщовый мешок, он уже наполовину заполнен. Пока у нас собирают паспорта, женщина наполняет свой мешок до верха и идет за следующим.

— Вы приехали из Испании? — обращается к немолодой рыжеволосой женщине пограничник. — ПЦР-тест покажите.

— У меня сертификат. Я привита. Модерна. Вот, — женщина протягивает пограничнику бумагу.

Пограничник зачитывает ей список стран, прибывшие из которых обязаны, даже имея прививку, сдавать ПЦР-тест. Испания в их числе. Начинается перебранка, пограничник требует, чтобы женщина вернулась в Молдову, женщина угрожает пограничнику судом, пограничник обещает ей наряд милиции и ночь в каталажке. Наконец, женщина замолкает и после паузы говорит дрожащим голосом, что едет в Одессу хоронить маму, которая умерла от ковида. Пограничник топчется на месте, выходит из автобуса. Вместо него в автобус заходит другой и говорит, что она поедет вместе со всеми, если установит на телефон приложение, по которому можно будет отследить ее перемещения в Одессе. У женщины не оказывается украинской сим-карты, водитель за 200 (валюта не уточняется) предлагает ей сим-карту. Бледная женщина пытается поменять карту, роняет телефон и падает в кресло. Рядом сидящая молодая пара бросается ей на помощь. Лоб женщины протирают влажной салфеткой, замеряют пульс, помогают разобраться с телефоном и принять лекарство.

— Гражданка Кыргызстана, выйдите из автобуса, — неожиданно говорит пограничник, и в автобусе становится тихо. Люди замирают, будто узнав, что среди них инопланетянин. Я встаю, иду на выход. Мне неловко протискиваться сквозь стену концентрированного внимания, люди думали, я своя, вели себя просто, говорили что думали, а я — вот она кто. Такие дурацкие были у меня мысли.

— Через какую страну вы прилетели в Молдову? — спрашивает меня напряженный пограничник.

— Через Турцию, — отвечаю я, и пограничник сразу расслабляется.

— Вот тут распишитесь, — дает мне листок.

— А тест? Вот мой тест, — протягиваю ему сделанный в Кишинёве почти за сто долларов экспресс-тест.

С моим возвращением в автобус возвращается напряжение. Все как-то разом замолкают, делаются серьезными. Автобус трогается, проезжает несколько сотен метров.

— Товарищ водитель, дьютти фри! Я же просила вас остановиться! — спохватываются белые шорты.

— Я не обязан это делать, — отвечает водитель.

— Вы должны, я вам плачу! — выкрикивает женщина.

— Я ничего тебе не должен, алкашка, — зло отвечает красивый Юрий, и в салоне во второй раз становится тихо.

— Я не алкашка, я три года не пью. Хотела подругам подарок взять! — вдруг начинает плакать женщина.

*Александр Мещеряков*

## От многодетности к долголетию

*Демографический опыт Японии*

В разное время человечество терзает разные демографические проблемы. Если оценивать нынешнюю ситуацию в планетарном масштабе, то в настоящее время наиболее серьезный вызов состоит в том, сможет ли Земля прокормить все более увеличивающееся человечество. В начале XIX века население планеты составляло 1 миллиард, в 1927 году оно перевалило за два миллиарда, в 2022-м превысит уже 8 миллиардов, что создает высочайшую нагрузку на мировую экосистему. В этих условиях многие страны предпринимают меры по снижению рождаемости. Наиболее известный случай — Китай, где долгое время количество детей ограничивалось законодательно. Что до европейских стран, то там наблюдается депопуляция. Во многих из них стимулируют иммиграцию и рождаемость. Россия не является в этом отношении исключением.

Япония представляет собой чрезвычайно интересный случай кардинальных изменений в демографической ситуации и демографической политике. В середине XIX века ее население составляло около 30 миллионов человек, причем эта цифра практически не менялась с начала XVIII века. Это был тот предел, больше которого при существовавших аграрных технологиях японская земля прокормить не могла. Япония в то время являлась страной закрытой для въезда и выезда, так что недостаток продовольствия не мог быть восполнен за счет импорта.

В 1867 году произошла так называемая революция Мэйдзи<sup>1</sup>, страна открылась миру и приступила к модернизации. В результате решительных реформ весь строй японской жизни кардинально изменился, население стало быстро расти. В 1913 г. оно увеличилось до 53 миллионов 362 тысяч человек. Такой бурный рост принято квалифицировать как «демографический взрыв». Как и всякий «взрыв», взрыв демографический вызывал серьезное беспокойство: считалось, что ресурсная база страны не выдержит такого напора. Что делать? В Европе того времени уже довольно широко применялись контрацептивы, однако в Японии считалось, что ограничение рождаемости — акт негуманный, он противоречит моральным устоям японского народа, так что низовое движение за «планирование семьи» было запрещено. Вместо этого правительство поощряло эмиграцию, чтобы избавить страну от лишних ртов. Однако японцы, люди консервативные, не желали покидать родину, так что эмигрантов

---

*Александр Мещеряков* — советский и российский историк, японист, переводчик, литератор, доктор исторических наук (Институт классического Востока и античности, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). Помимо научных трудов опубликовал также три книги стихов и три книги прозы. В переводах А. Мещерякова на русском языке изданы сочинения Мурасаки Сикибу, Ёсиды Канэеси, Исихары Синтаро, Ясунари Кавабаты и других авторов.

<sup>1</sup> События 1867—68 гг., в результате которых был свергнут сёгунат Токугава и к власти пришла группа реформаторов, приступившая к модернизации страны, осуществлявшейся от имени императора Мэйдзи.

было мало. Кроме того, многие страны, раньше поощрявшие иммиграцию, в 1920—30 годах стали вводить серьезные ограничения на въезд. К их числу относились США и Бразилия — то есть те страны, куда стремились наиболее мобильные японцы.

В этих демографических условиях власть в стране перешла к силовикам, выступавшим за расширение территории японской империи. Предполагалось, что японцы станут переселяться туда в качестве колонизаторов, что позволит смягчить демографическое давление внутри самой Японии. В 1931 г. японская армия вторглась в Маньчжурию, в 1932 г. там было образовано «независимое» государство Маньчжоуго, которое находилось под полным контролем Японии. По своей сути это была японская колония. В 1937 г. Япония начала «большую войну» с Китаем. Генералы рассчитывали на блицкриг, но японская армия завязла в огромном Китае и несла значительные потери. Население же мгновенно отреагировало на войну сокращением количества свадеб и понижением рождаемости. Если в 1937 г. родилось 2 миллиона 067 тысяч младенцев, то на следующий год — всего 1 миллион 879 тысяч, то есть страна вернулась к уровню 1914 года. В качестве реакции на это правительство бросило лозунг «Рожайте и размножайтесь для блага страны!» В 1937 г. население собственно Японии впервые превысило 70 миллионов человек, но этого казалось мало для осуществления грандиозных (и утопических) планов по колонизации Азии.

В рамках правительственной риторики брак и деторождение рассматривались не как личное дело каждого, а как «служение» родине. Настойчивая пропаганда ратовала за многодетность и понижение брачного возраста, то есть увеличение продолжительности репродуктивного периода, чтобы «не похоронить» самые благоприятные для деторождения годы. Таким образом, совсем недавняя и практически всеобщая обеспокоенность по поводу перенаселенности страны внезапно сменилась призывом плодиться и размножаться.

Люди в погонах вождьенно смотрели на женщин как на биологических поставщиц будущих воинов. Заведующий отделом в информационном бюро военно-морского флота капитан 1-го ранга (впоследствии контр-адмирал) Хираидэ Хидэо в радиопередаче «Война и материнство» с солдатской прямоотой говорил так: мать важна для нас, поскольку без нее не было бы сыновей, а без сыновей была бы невозможна война. Разумеется, «войну» Хираидэ понимал как несомненное благо.

Средства массовой коммуникации именовали плодотворных матерей «фертильным батальоном». В ноябре 1940 года 10 тысячам семей с более чем десятью детьми были вручены почетные грамоты (подавляющее большинство таких семей проживали в деревнях). Победителем оказался житель префектуры Нагасаки. У него народилось 6 дочерей и 10 сыновей. Он высказал желание, чтобы все сыновья стали солдатами.

Плотность населения в Японии была одной из самых высоких в мире, но правительственная политика поощрения рождаемости направлялась на еще большее увеличение демографического давления и провоцировала поиски решения этой проблемы вне пределов собственных границ. 27 сентября 1940 г. Германия, Япония и Италия объединились в Тройственный союз (Берлинский пакт), принесший планете Вторую мировую войну. Во всех трех странах любили поговорить о перенаселенности и нехватке «жизненного пространства» и одновременно проводили политику повышения рождаемости. Япония пристально следила за «достижениями» нацистской Германии, в том числе и за «эффективной» демографической политикой: детские пособия, привилегии многодетным семьям, налог на бездетность, охрана детского и материнского здоровья, гигиеническое воспитание, создание дошкольных учреждений, усиленные занятия физкультурой и спортом. В Японии считали, что это привело к появлению на свет многочисленных здоровых немцев и позволило Германии одерживать легкие победы над европейскими нациями, в возрастной пирамиде которых непропорционально большое место занимали люди старших возрастов. В обличии «прогнившей» Европы особенно доставалось Франции, которую стали считать воплощением изнеженности и слабости.

22 января 1941 г., за десять месяцев до нападения Японии на США и Великобританию, кабинет министров утвердил грандиозную двадцатилетнюю программу по увеличению популяции этнических японцев. Двадцать лет — немыслимый срок для хоть сколько-то реалистического планирования, даже Советский Союз мерил

в то время свои планы лишь пятилетками, но японское руководство шло дальше — настолько оно было уверено в том, что полностью контролирует не только прошлое и настоящее, но и будущее.

В преамбуле «Программы» подчеркивалось, что увеличение населения необходимо для успешного строительства «сферы совместного процветания в Восточной Азии» под эгидой Японии. Это был грандиозный утопический план, сравнимый по своим масштабам с мечтаниями нацистов о мировой гегемонии арийцев или же с надеждами большевиков на советизацию всего земного шара. Японцев насчитывалось чуть больше 70 миллионов, а «сфера процветания» включала в себя, в частности, Китай (400 миллионов человек) и Индию (300 миллионов). Так что задача была не из легких, японских «учителей» (как гражданских, так и военных), которые должны были повести азиатские народы к светлой жизни, явно не хватало. Тем не менее цель обладала завораживающей притягательностью, процесс наращивания количества японцев стали называть «войной за победу в количестве населения». Согласно «Программе», к 1960 г. японцев должно было стать 100 миллионов.

Для достижения поставленной цели была развернута активная пропагандистская работа по снижению брачного возраста на три года (на момент принятия программы он составлял 24 года у женщин и 28 лет у мужчин), что позволило бы не только удлинить прокреативный период, но и принесло бы более здоровое потомство. Кроме того, женщинам предлагалось сосредоточиться не на производственной, а на репродуктивной функции: увеличению количества детей (не меньше пяти на семью; реально оно составляло 4,15). Разводы сурово осуждались, аборты подлежали уголовному преследованию. Японцев и японок призывали отказаться от гедонизма и эгоизма, от «роскошных» и «бессмысленных» свадебных церемоний. Считалось, что многие молодые люди откладывают брак, поскольку не могут себе позволить устроить свадьбу с надлежащим размахом. Активисты составляли списки холостых подданных и обходили их дома, требуя, чтобы они как можно быстрее вступали в брак. Неженатых и незамужних японцев клеймили как «врагов народа». Тем не менее власти не последовали примеру военных союзников Японии — Германии и Италии — и не пошли на введение налога на бездетность. В СССР такой закон был введен 8 июля 1941 г., то есть сразу после нападения Германии.

Правительство создало сеть государственных семейных консультаций, которые выполняли функцию брачных агентств, находившихся в ведении министерства благосостояния и здравоохранения. В памятке министерства с удивительной прямотой утверждалось, что «люди, не способные к размножению, не имеют ценности». Разрабатывались и меры по оказанию материальной помощи многодетным семьям, улучшению жилищных условий, питания, медицинского обслуживания. В 1938 году от туберкулеза умерло 148 тысяч человек — самый высокий показатель в «цивилизованном» мире. В том же году в Японии умерло 220 тысяч детей в возрасте до года. До десятилетнего возраста не доживала четверть детей.

Вызывали озабоченность и наследственные заболевания. Закон «Об охране евгеники народа» был принят в марте 1940 г. Согласно ему допускалась не только добровольная, но и принудительная стерилизация (основными объектами ее являлись душевнобольные). Однако на деле возобладала идея, что японцев — вне зависимости от их «качества» — должно быть как можно больше, и закон почти не применялся на практике. За время его действия (с 1941 по 1947 г.) стерилизации подверглись всего 538 человек (в нацистской Германии только за 1934 г. было прооперировано 56240 человек, в США с 1907 до 1957 г. — более 60 тысяч). Закон, скошенный по нацистскому образцу, оказался по существу неосуществленным.

Ко времени принятия «Программы» рождаемость в Японии стала понемногу падать. Особенно заметно это было в городах. В связи с этим ставилась задача, чтобы в деревне проживало не менее 40 процентов японцев, то есть предлагалось законсервировать существующее положение, когда крестьян в стране насчитывалось 42% населения, существенно больше, чем в других «развитых» странах. В постановлении кабинета министров особо подчеркивалось, что именно крестьяне являются поставщиками наилучших солдат и наилучшей рабочей силы. К этому времени деревня уже стала отставать от города по продолжительности жизни, но руководство



страны было озабочено наращиванием числа не старых, а молодых людей. Правительство не ставило задач по увеличению количества японцев за счет роста продолжительности жизни. А по этому параметру Япония существенно отставала. В 1935—1936 гг. продолжительность жизни японца составляла 46,9 лет (мужчины) и 49,6 лет (женщины), в то время как в Англии и Германии она уже превышала 60 лет.

Повышение продолжительности жизни — процесс медленный и многотрудный. Политики и военные привыкли, что «народ» послушно внимает их указаниям. Им казалось, что нарастить количество японцев за счет увеличения рождаемости будет намного проще, чем увеличить продолжительность жизни. К тому же старики плохо годились для войны. Кажется, впервые в японской истории публицисты стали говорить о «недостатках», которые приносит пожилой возраст. Старики опытные и уравновешенные, но у них отсутствуют такие замечательные качества как смелость, жертвенность и творческое воображение. Если же не принять мер по увеличению рождаемости, то Япония неизбежно превратится в «страну стариков», как это произошло с декадентскими и либеральными странами вроде Франции и Англии.

Японцы в подавляющем большинстве и вправду верили правительству, в своем поведении они руководствовались «патриотизмом» и после начала разъяснительной кампании за увеличение рождаемости японки принялись исправно рожать. После «провального» 1938 года кривая рождаемости поползла вверх: 1939 г. — 2 миллиона 93 тысячи рождений, 1940 — 2 миллиона 239 тысяч, 1941 — 2 миллиона 296 тысяч, 1942 — 2 миллиона 201 тысяча, 1943 — 2 миллиона 261 тысяча. Но затем бессильной оказалась даже пропаганда — начался настоящий обвал. Бедствия, которые принесла война, оказались сильнее любых программ по стимулированию рождаемости.

Японская армия уже прочно увязла на необъятных китайских просторах, но 8 декабря 1941 года «бесстрашные» (может быть, лучше подходит определение «преступные» или «недальновидные») военачальники напали на Перл-Харбор, а император Сёва объявил новую войну — Соединённым Штатам Америки и Великобритании. Это была война, в которой Япония не могла победить по определению.

В результате поражения во Второй мировой войне Япония в одночасье лишилась колоний и отказалась от экспансионистских устремлений. Страна была оккупирована американской армией, лежала в руинах, большинство крупных городов было разбомблено, ощущалась острая нехватка любых жизненно важных ресурсов. В стране продолжался продовольственный кризис, но экспортировать было нечего и некому, валюты на закупку продовольствия не имелось. Если бы не американская продовольственная помощь, в стране разразился бы голод.

Продовольственный кризис осложнялся катастрофической демографической ситуацией. Катастрофа заключалась в том, что теперь, без всяких приказов правительства, японцы принялись плодиться. Из бывших колоний и с линии фронта на родину вернулось около 7 миллионов человек (в основном мужчины). Перепись 1947 г. насчитала 78 101 473 японца. Их количество стремительно увеличивалось: с 1947 по 1949 г. ежегодно появлялось на свет около 2 миллионов 700 тысяч младенцев. Это были «отложенные рождения», ставшие невозможными из-за войны. Они быстро компенсировали военные потери Японии (около 3 миллионов человек), но значительно повлияли на уровень благосостояния (а в то время, скорее, бедности) людей. После окончания войны во всех странах-участницах наблюдается резкое повышение рождаемости. Поскольку оно происходило на фоне экономической разрухи и нехватки продовольствия, значительное распространение получило мнение о перенаселенности земного шара. Эта идея стала активно обсуждаться и в Японии.

Американская оккупационная администрация во главе с генералом Дугласом Макартуром внимательно следила за всем, что происходило в Японии. Демографическая ситуация не была исключением, и во время неформальных контактов с японской политической элитой представители американской администрации убеждали ее в необходимости активной демографической политики, направленной на ограничение рождаемости.

В предвоенные и военные годы деятельность активистов движения за планирование семьи находилась в Японии под запретом. Однако теперь они снова получили право голоса. Уже 11 ноября 1945 г., то есть почти сразу после капитуляции, активистка

женского движения Като Сидзуэ опубликовала статью, в которой ратовала за ограничение рождаемости в связи с нехваткой питания, безработицей, ужасным состоянием здравоохранения. Активность Като Сидзуэ была замечена американцами. При их посредничестве она, одна из первых среди женщин, стала в 1946 г. депутатом парламента (от социалистической партии), где работала над законопроектами, направленными на снижение рождаемости.

Американцы не проводили масштабной чистки среди японских государственных служащих, многие из них сохранили свои должности и в «новой» Японии. Это были те же самые люди, которые совсем недавно ратовали за увеличение рождаемости. Большинство из них с легкостью поддались уговорам о том, что теперь насущной необходимостью является совсем иная демографическая политика.

В 1948 г. были разрешены аборты. Дополненный в 1949-м, этот закон разрешил прерывание беременности на «экономических основаниях». Таким образом Япония продемонстрировала небывалую смелость и стала первой страной в мире, где бедность признавалась достаточным основанием для избавления от плода. Заявлялось, что легальный доступ к абортам предотвратит рождение нежелательных детей у бедных и малообразованных слоев населения, которые не смогут должным образом воспитать потомство и дать ему качественное образование. Раньше дети рассматривались как будущие солдаты и рабочая сила (чем больше детей, тем лучше), теперь на них стали смотреть как на обузу и иждивенцев, служащих помехой для экономического развития. В них видели завтрашних нищих, требующих расходов и опеки со стороны государства.

Законопроект был одобрен единогласно, хотя в то время политические партии редко соглашались друг с другом. Японки в одночасье получили право на прерывание беременности — то право, за которое на Западе феминистские движения боролись десятилетиями. Одновременно с принятием закона развернулась и мощная пропагандистская кампания в пользу сокращения рождаемости. К ней были подключены печать, радио и кино. Целый вал публикаций о необходимости ограничения рождаемости обрушился на японцев после заявления американского демографа Уоррена Томпсона, сделанного во время его пребывания в Японии в марте 1949 г., где он настаивал на необходимости контроля над рождаемостью. Главный аргумент состоял в том, что многодетность мешает экономическому развитию страны, а именно развитие экономики и сопутствующее ей повышение жизненного уровня стали стержнем новой Японии. Томпсон выступил и с прямыми угрозами: если японцы не снизят рождаемость, это может привести либо к прекращению продовольственной помощи США, либо к коммунизму, либо к возрождению милитаризма. Жизнь была бедная, еды — мало, безработных — много. На этом фоне слова Томпсона звучали особенно убедительно.

Томпсон — знаменитый ученый, один из основных разработчиков теории демографического перехода. Эта теория утверждает, что индустриализация приводит к одновременному падению рождаемости и смертности. Томпсона привлекли в качестве советника американской оккупационной администрации. Однако сама администрация воздерживалась от официальных заявлений по поводу демографических вопросов, утверждая, что они находятся в компетенции самих японцев. По всей вероятности, такая «нейтральная» позиция была обусловлена особой деликатностью проблемы, решение которой в русле теории демографического перехода предполагало не просто сокращение рождаемости, а разрушение дорогих сердцу японца поведенческих стереотипов. Главный из них состоял в том, что много детей — это хорошо. Высказывается также соображение, что, поскольку у Макартура имелись президентские амбиции, он не хотел лишиться поддержки американских католических избирателей, которые были настроены крайне негативно по отношению к любым «новшествам» в семейной политике.

Заявление Томпсона преподносилось оккупационной администрацией как его «личное мнение», но справедливо воспринималось в Японии как ее официальный курс. Если до этого времени крупные газеты позволяли себе публиковать разные мнения по демографическим вопросам, то теперь право голоса предоставлялось по преимуществу проповедникам идеологии планирования семьи. Все они исходили из тезиса о перенаселенности Японии, которое имеет множество отрицательных последствий — как экономических, так и социальных. Утверждалось, что снижение

рождаемости предотвратит безработицу, поможет женщине обрести свое «я», лишит жадных капиталистов избыточной рабочей силы и избыточной прибыли, предотвратит «отрицательный отбор» (ввиду того, что «низы общества» сократят свое неконтролируемое размножение) и т.д. Иными словами, мыслители самого разного толка сходились в окончательном выводе, но обосновывали его по-разному. В апреле 1949 года премьер-министр Ёсида Сигэру сделал заявление о необходимости снизить рождаемость, а демографическая ситуация попала в правительственный список важнейших проблем, перед которыми стоит Япония.

Противники снижения рождаемости оставались на информационной обочине. Реклама противозачаточных средств заняла видное место на страницах газет и журналов. Супружеские пары с двумя детьми ставили в пример и называли их «культурными людьми». Тех же, кто противился сокращению рождаемости, квалифицировали как «безответственных». Средства массовой информации утверждали: важен не размер семьи, а ее финансовая стабильность, здоровье, культурный и образовательный уровень детей.

Пропагандистская компания предусматривала участие акушерок и медсестер, которые обходили дома японцев, убеждая их в необходимости планирования семьи. Вкупе с напором средств массовой информации их разъяснительная работа приносила плоды: сторонники такого подхода создавали своеобразные ячейки, вербовали сторонников, которые, в свою очередь, вовлекали в движение новых членов. Таким образом, использовались те же самые организационные формы, которые применялись ранее для пропаганды увеличения рождаемости. В движении за планирование семьи участвовали и крупные предприятия. На некоторых из них в конверт с зарплатой вкладывали материалы, разъясняющие преимущества маленькой семьи. Члены движения за ограничение рождаемости торговали презервативами по оптовым ценам и рисовали образ счастливой семьи, состоящей из двух родителей и двух детей. Иными словами, произошел колоссальный отлет от ценностей довоенного/военного времени. Тогда ценилась мощь государства, а «эгоистичного» японца пугали лозунгом: «Роскошь — наш враг». Те годы характеризовались в государственном дискурсе презрением к «гнилой» интеллигенции и антиинтеллектуализмом: считалось, что здоровые, послушные, многодетные и малообразованные крестьяне являются стержнем государства. Теперь же во главу угла ставилось образование, а в экономической сфере был взят курс на уничтожение сельского хозяйства и крестьянства взамен на развитие науки и наукоемкого производства с высокой добавленной стоимостью — развитие, которое осуществляется прежде всего в городе.

Слово «культура» понималось в довоенное/военное время прежде всего как лояльность по отношению к государству, но сейчас заговорили о той культуре, которая служит и самому человеку. И именно такой счастливый, преуспевающий, рациональный и уверенный в своей самостоятельности горожанин послужит основой успешной нации и процветающего государства, которое к тому же сильно экономит на социальных расходах. До войны рождение ребенка рассматривалось как служение государству, теперь же говорили о совпадении интересов семьи и государства. Разница в подходах была колоссальной, но не вызывает сомнения и преемственность: и в том, и в другом случае государство выступало в качестве «мудрой» направляющей и дисциплинирующей силы. До войны многодетные семьи награждали грамотами, теперь эта практика была упразднена. Пособия и льготы для многодетных тоже отменили.

Американская администрация практиковала системный, «научный» подход к уничтожению прежней Японии. Уничтожались не только армия и политическая система. Посчитав, что основой японского варианта тоталитаризма является патриархальная семья, американцы сделали ставку на формирование нуклеарной семьи, то есть той формы семьи, которая господствовала в США. В соответствии с новым гражданским кодексом упразднялась власть главы семьи, когда он своей волей мог написать родственника в семейный реестр или вычеркнуть из него, а детям без его согласия невозможно было вступить в брак (мужчинам до 30 лет, женщинам — до 25). Теперь же каждый член семьи рассматривался как самостоятельная гражданская единица, и взрослые дети имели полное право на свободное (по любви) заключение

Евгений Абдуллаев

## Верлибр, и снова верлибр

«Один идёт прямым путем,/ Другой идёт по кругу...»

Вот и у нас сейчас все потекло по кругу. В поэзии и окрестностях.

Вышла в прошлом году антология «Современный русский верлибр», составленная Лилией Газизовой<sup>1</sup>. Составлена добросовестно, множество замечательных поэтов и отличных стихов. Интересные рассуждения авторов о верлибре, помещенные после подборок...

Но в «барометровских» колонках книги меня интересуют не сами по себе, а как повод к разговору о погоде. О литературной нашей погоде.

«Эта антология должна была появиться больше года назад», — пишет в предисловии Лилия Газизова (не вышла тогда из-за пандемии).

Первая мысль, возникшая при знакомстве с книгой: эта антология должна была появиться не год и не два — а лет двадцать назад.

Именно в то время вопрос о выборе между силлаботоникой и верлибром еще имел какое-то осмысленное литературно-эстетическое наполнение. Которого затем лишился: верлибр был впитан современной русской поэзией. Перестал восприниматься большинством пишущих как что-то чуждое и инородное; породил множество промежуточных форм с силлаботоникой.

Это признает и сама составительница.

«...Яростное противостояние сторонников силлаботоники и свободного стиха осталось в прошлом. Многие приверженцы силлаботонического стихосложения периодически обращаются к верлибру, а порой в текстах современных авторов нет четкой грани между регулярным и свободным стихом».

Об этом же пишет и большинство авторов. Нина Александрова, Иван Ахметьев... И далее по алфавиту.

Это подтверждают и подборки. Наиболее яркие они у поэтов, пишущих *не только* верлибром. А в случае Инги Кузнецовой, Марии Галиной, Вадима Муратханова, Светы Литвак — вообще обращающихся к нему нечасто. И, разумеется, не потому, что не-верлибр лучше верлибра. «Лучше» и «хуже» — вопрос не формы, а таланта и мастерства. Само понятие свободного стиха предполагает момент *освобождения* от аскезы более жестких форм. В противном случае — если освободиться не от чего — повышается риск появления «прозы, да и дурной» (в сборнике — видимо, из соображений стилистической толерантности — в небольшом количестве представлена и она).

Но для того, чтобы лишний раз убедиться, что «качество верлибра зависит от калибра»<sup>2</sup>, вряд ли сегодня требовалась отдельная антология.

Интереснее была бы, скажем, антология чисто силлабического стиха, гораздо более у нас редкого. Или современного русского сонета. Или дву- и трехстрочий. А верлибр... «Верлибром сейчас в российском поэтическом сообществе никого не

<sup>1</sup> Современный русский верлибр: Антология / сост. Л.Р.Газизова. — М.: Воймега, 2021. — 428 с.

<sup>2</sup> Как заметила в своем ответе, сославшись на неназванного поэта, Хельга Ольшванг.

удивишь» (Сергей Бирюков). Более того: «и от верлибра, как мне кажется, уже есть определенная усталость» (Мария Галина).

Напомню, то же писал о верлибре в «Дружбе» еще семнадцать лет назад Алексей Верницкий: «Сейчас это такой же равноправный размер в русской поэзии, как, например, пятистопный ямб» (2005, № 7).

Можно вспомнить даже более раннюю статью Юрия Орлицкого «Русский верлибр: мифы и мнения» («Арион», 1995, № 3). Орлицкий вообще относит «время верлибра» к 1980—1990-м. Приводит — как и в нынешней антологии — высказывания поэтов, пишущих свободным стихом, которых тогда же опрашивал.

Прошло более четверти века, и мы опять прибываем на ту же станцию.

С другой стороны... Споры о верлибре последние года два вроде как снова оживились. Снова пытаются как-то увязать писание или не-писание верлибром с политической позицией автора<sup>1</sup>. Верлибра — соответственно, с либеральной, а силлаботоники — с консервативной.

Споры вокруг этого (в основном, в соцсетях) последний год кипели, выкипали и, кажется, еще не выкипели до конца; так что даже два серьезных критика сочли нужным упомянуть о них в подведении итогов года.

«Консервативная общественность, — пишет Иван Полторацкий на "Литературе" (№ 190, январь 2022 г.), — по-прежнему борется за превосходство силлаботоники перед свободным стихом».

Ну, консервативная — равно как и либеральная — общественность у нас с чем только в соцсетях не борется; сбывлась, наконец, вековая мечта русского (и не только) человека бороться, не вставая с дивана... Вопрос — насколько все это имеет отношение к литературе, к ее развитию. На мой взгляд — приблизительно такое же, как шумные споры «физиков и лириков» на рубеже 1950—1960-х. А еще точнее — споры остроконечников и тупоконечников из «Путешествия Гулливера».

То есть — никакого. Псевдопроблема.

Впрочем, и в начале 2000-х тоже была попытка как-то привязать отношение к верлибру к политическим взглядам. О чем также писал Верницкий: статья его, напомню, так и называлась «Спор (не) о верлибре».

Лев Оборин на «Полке» (31 декабря 2021 г.) отмечает, что «неприятие верлибра почти не согласуется с тем, что иногда называют неоконсервативным трендом в поэзии» (и с этим можно только согласиться). Но далее Оборин вводит довольно странное деление. Традиционный стих, оказывается, связан с «предпочтением метафизического, натурфилософского». А верлибр, стало быть — с предпочтением социального...

Даже не знаешь, куда поместить при таком раскладе искрящую от социальности традиционную силлаботонику Иртеньева, Кабанова, рифмованные катрены Херсонского — или Строцева с его почти целиком рифмованным «Монахом Верой» (да и в консерватизме ни одного из них не обвинишь...).

А с другой стороны — как быть с метафизическими миниатюрами Александра Макарова-Кроткова или написанными длинной, с трудом останавливающей себя строкой, — но не менее метафизичными стихами Александра Бараша? Или — из более молодого поколения — Даниила Артёменко? Пишут они, напомню, верлибром.

Собственно, единственное различие между верлибром и не-верлибром — в степени *прозаизации* поэтической речи. Неудобно, но придется сослаться на свою почти десятилетней давности статью.

«...Прозаические обороты проникают в стих. Поначалу они не разрушают традиционную метрику, но в начале XX века добиваются и до нее, что и приводит к доминированию верлибра в форме неритмизованного безрифменного стиха в современной европейской и американской поэзии. Это обычно рассматривается как

<sup>1</sup> Неслучайно Александр Марков в рецензии на антологию замечает, что она «деидеологизирует отношение к верлибрам» («Литература», № 190, январь 2022 г.).

проявление модернизма, что не совсем верно. Действительно, как один из приемов по демонтажу традиционных форм и приемов верлибр связан с поэтическими поисками начала XX века. Но в корпусе текстов русского поэтического авангарда верлибров как таковых очень мало... Лишь после канонизации неоклассики в 1930-е годы верлибр начинает восприниматься как признак “идеологически чуждого” авангардизма<sup>1</sup>. Каковым он, в действительности, не был. Почему и “задержался” в европейской поэзии после того, как авангардные течения давно отошли в прошлое» («Вопросы литературы», 2013, № 2).

Откуда же берутся попытки как-то привязать верлибр к политике или к одному из ее лагерей?

Отчасти, да, поколенческий момент. И Оборин, и Полторацкий родились в конце 80-х и — при всей своей эрудиции — дискуссий о верлибре конца 90-х — начала нулевых могут просто не помнить. Не застали.

Вообще, верлибр — причем предельно прозаизированный (на грани той самой «прозы, да и дурной») — стал своего рода опознавательной меткой для некоторых поэтов, стартовавших в последние годы.

Ощущение, опять же, легкого дежавю. Не так давно еще посмеивались над стихотворной публицистикой а-ля Евтушенко. И вот, друг за дружкой появляются молодые евтушенки обоого пола, с нахмуренной серьезностью и громокипящей гражданской лирикой. Разве что место нехитро сработанной силлаботоники поэта-шестидесятника занял у них еще более примитивно устроенный верлибр. Который вместо средства освобождения поэзии становится средством освобождения *от* поэзии. Критерии оценки — как своих, так и чужих стихов — вытесняются за пределы поэтического в область политического.

Один из недавних примеров — коротенькая рецензия стихотворца и критика Максима Дрёмова на книгу Алексея Алёхина «Свидетель оправдания» (2020)<sup>2</sup>.

«Характерная примета текстов из сборника “Свидетель оправдания” — сквозящее отовсюду *презрение к современности*... Выходом из этой бездонной бочки сублимации становится своего рода *внутренняя эмиграция* в знакомое и уютное пространство, *не требующее осмысления категорий политического и медиального*... По аналогичной *ретроэскапистской траектории* движется и само письмо — собрание нехитрых нарративных паззлов...» («Воздух», 2021, № 41, *курсив мой*).

Вот почти и весь отклик — плюс несколько стихотворных отрывков из «Свидетеля оправдания».

Соглашусь, пожалуй, лишь с тем, что у Алёхина действительно сложно найти «осмысления категорий политического и медиального». Только не вижу в этом никакого греха. Осмысление оных категорий — это вообще по другому ведомству: социологии, политической философии... Да и не обязана поэзия заниматься «осмыслением категорий» — это ее с помощью категорий можно осмыслять, но не наоборот.

В целом же рецензия Дрёмова — на мой взгляд, типичный случай *подмены*. Поэтическая оценка подменяется идеологической, политической, квази-социологической. И дело даже не в отдельных клише, вроде «внутренней эмиграции», живо напомнившей погромную речь Семичастного против Пастернака. Или «презрения к современности» (из хрестоматийного высказывания Горького о «пессимисте» Лермонтове). Дрёмов — литератор молодой (1999 года рождения) и прелести советской идеологической критики не застал.

Дело в самом примитивно-социологическом способе мышления. В результате рецензия пишется языком РАППа, лишь слегка подмакияженным. Про «бездонную

<sup>1</sup> Поэтому мне не очень нравится обложка антологии верлибра — с репродукцией супрематической композиции Ольги Розановой. Сама по себе неплохая, она, тем не менее, «работает» на закрепление предрассудка об «авангардности» верлибра.

<sup>2</sup> Алексей Алехин — для тех, кто вдруг не в курсе, — один из мастеров верлибра (пишущий им почти полвека), участник вышедшей антологии.

бочку сублимации»<sup>1</sup> и «ретроэскапистскую траекторию» критики-рапповцы, знамо дело, не писали...

А вот и верлибры самого Дрёмова («Воздух», 2019, № 38) — в которых, вероятно, и происходит искомое «осмысление категорий политического и медиального».

Послушаем.

что вы думаете о поэте \_\_\_\_\_е?  
 что вы думаете о методе его работы с политическим?  
 что вы думаете о поэтике памяти в его  
 последнем тексте, что вы думаете о возможных  
 интертекстуальных связях, которые непременно  
 обнаруживаются — стоит только окинуть самым беглым  
 взглядом его читательский круг и прочесть на фоне  
 \_\_\_\_\_, что вы думаете о методе совершения  
 его последней акции прямого действия, об оперативной  
 реакции силовых структур, о последующем аресте,  
 широко освещённом независимыми СМИ, о реакции  
 непопулярных блогеров левого толка, на которых мы  
 всё равно все вместе подписаны и знаем, о ком идёт  
 речь, даже не называя имён?<sup>2</sup>

Собственно, почему бы нет... Медийный язык может быть — и не раз бывал — материалом для поэтического высказывания. Вспомним хотя бы чудесный «Сонет-статью» Генриха Сапгира:

Большая роль в насыщении рынка това-  
 рами принадлежит торговле. Она  
 не обычный посредник между произво-  
 дством и покупателями: руково-

дители торговли отвечают за то,  
 чтобы растущие потребности населе-  
 ния удовлетворялись полне-  
 е, для этого надо развивать гото-

вые связи, успешно улучшать проблемы улучше-  
 ния качества работы, особенно в отноше-  
 нии сферы услуг, проводить курс на укрепле-

ние материально-технической базы, актив-  
 но внедрять достижения техники, прогрессив-  
 ные формы и методы организации труда на селе.

Но тут — кроме поэтического мастерства — есть еще одно важное отличие от текста Дрёмова: ироничное дистанцирование самого автора от этого стиля, даже на уровне тезауруса. Что у Дрёмова совершенно отсутствует — или скрыто так глубоко, что не смог уловить. Он просто берет медийные, отчасти социологические клише и лепит из них стихотворение. И полуфабрикат так и остается полуфабрикатом.

Но это уже не вопрос о верлибре как форме. Написанным с претензией на глубокомыслие и напичканным политической риторикой может быть и силлаботонический текст. А верлибры...

«Верлибры, — как пишет в антологии, с которой был начат этот разговор, Иван Ахметьев, — это такие стихотворения, <...> которые бывают иногда у некоторых авторов очень хороши».

Сказано немного простодушно, но добавить к этому ничего не могу.

<sup>1</sup> Что, учитывая, прямое значение термина «сублимация» — «возвышение, вознесение» (это присутствует и в его психологической трактовке), — звучит довольно забавно.

<sup>2</sup> Цитирую не полностью: там еще много; если возникло желание ознакомиться целиком, вот ссылка: [http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2019-38/dremov/view\\_print/](http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2019-38/dremov/view_print/)

*Борис Минаев*

## Дон-Жуан прощается

В конце спектакля «Моцарт "Дон-Жуан". Генеральная репетиция» наступает темнота, и из рук Главного режиссера выскальзывает светящийся телефон. Он тихо и плавно поднимается вверх, куда-то к потолку (к небу), и исчезает.

Зал замирает в изумлении. Нельзя проще и понятнее сказать о душе — и о смерти ее. Душа, заключенная в коробочку «устройства», со всеми ее «контактами», связями, информацией, ежедневным расписанием и новостями мира куда-то улетает — да, это мощный символ.

Дмитрий Крымов, чьи спектакли за последнее время удивили и в каком-то смысле даже потрясли театральную Москву, выпустил книгу своих режиссерских сценариев («Своими словами: Режиссерские экземпляры 9 спектаклей, записанные до того, как они были поставлены». — М.: НЛО, 2022). В ней каждый может еще раз перечитать тексты, которые стали основой для постановок, — перечитать, чтобы понять и еще раз увидеть в своей памяти и воображении.

Ведь это не в прямом смысле тексты, диалоги с режиссерскими ремарками — скорее некие коллажи, куда включены и фрагменты классических пьес, и ремарки, и тексты самого Крымова. Собственно, так в большинстве своем выглядят и сами эти знаменитые спектакли — «старые тексты» в них являются лишь материалом. В спектакле «Все тут» театра «Школа современной пьесы» американская драма «Наш городок» Торнтон Уайлдера вроде бы играется фрагментами — но главное действие заключено не в ней, а в окружающих ее «рефлексиях»: воспоминаниях о том, как пьеса смотрелась в Москве 1970-х, как маленький Дима Крымов прибежал домой и заставил родителей пойти ее смотреть, как ходил на нее много раз, в описании тогдашних и сегодняшних чувств, в попытке заглянуть в свой мир, в свое «я», тогда и сейчас. Причем очень часто эти рефлексии и воспоминания в свою очередь заглушаются самоиронией, горьким скепсисом.

И это какой-то совершенно новый театр, театр внутри театра, герметичный жанр, целью которого является изображение не «внешнего», а именно внутреннего мира — мира человека, который находится целиком внутри «театральной коробочки» и как бы бесконечно переставляет находящиеся внутри нее предметы.

Правда, заключенная в предмете, в вещи всегда была философией крымских спектаклей — здесь не было в прямом смысле «декораций» или «оформления сцены», бумага или картон, дерево или металл, стулья или игрушечные машинки по сути всегда были главными героями, в них было все дело, они в изначальном театре Крымова выдвигались на первый план, чтобы сообщить нечто неожиданное и шокирующее.

Для меня всегда это было сложно — ведь такой, поданный как «фокус», как «аттракцион», театральный предмет сам по себе не несет в себе никаких смыслов, он не разговаривает сам по себе, все смыслы, все слова зритель должен добавлять в него сам, выбирая из множества вариантов.



...Ну, скажем, вот этот уплывающий телефон, «про что» он?

Самый простой вариант — вот оно, то самое «материальное воплощение» души, духа, о котором столетиями говорили философы и ученые. Вот оно, нашлось! Сколько весит телефон — столько весит и человеческая душа. Мы буквально переходим «в цифру», это уже прогноз на завтра, об этом говорят ученые как о будущем: мозг человека можно будет «оцифровать», и что это тогда — вечная жизнь? Глупость какая-то: может быть, напротив, улетающий вверх телефон Главного режиссера — это похоронный гимн прежней, до-цифровой, гораздо более человеческой реальности? Или это все-таки обычная история о смерти, о ее печали, о ее бесконечной загадке?

...Рядом со мной сидела немолодая пара.

— Ты знаешь, — сказал мужчина своей спутнице, когда аплодисменты отгремели, — я не знаю, что это такое, но это гениально...

— Мне первое действие не понравилось, — откликнулась она.

— Но без первого не было бы второго, — возразил мужчина.

Самая короткая и самая точная рецензия на Крымова, которую я когда-либо слышал. Мы не знаем, не понимаем, с чем имеем дело, когда смотрим его спектакли, это всегда в логическом смысле загадка. Но почти всегда испытываем восторг, когда их смотрим: восторг первооткрывателя этих смыслов, вновь возникающих прямо на наших глазах.

Я вспоминаю, с каким недоумением смотрел «Тарарабумбию» в театре «Школа драматического искусства» на Сретенке: по узкой, специально проложенной «тропе» (что-то типа ковровой дорожки на низком подиуме она собой представляла) туда-сюда непрерывно ходил военный духовой оркестр с бравурными маршами и время от времени какие-то дамы и мужчины что-то отдельное выкрикивали, больше ничего не происходило. Абсурд. Но это и есть мир чеховских «Трёх сестёр» — вечное нервное ожидание чего-то большего, что никак не происходит. Отрезая от этого мира «человеческое» и оставляя лишь «внечеловеческое», Крымов переворачивает картинку нашего привычного восприятия, и мы... ну, мы с ужасом смотрим на этих людей, которые как будто бы все время идут на войну.

Перелистывая страницы книги крымовских «режиссерских сценариев», я вдруг осознал, в какой именно смысловой точке все они пересекаются.

...В беседах с одним моим другом-писателем мы часто шутим, что каждый из нас, наверное, является «устаревшей моделью человека». И это касается не только возрастных болячек или бытовых вещей, не только тотального наступления цифровой реальности, не только не совсем очевидных для нас (проживших в совершенно другом мире) постулатов «новой этики», это касается не только мировой политики, которая буквально сегодня и сейчас разрушает те основы бытия, которые казались незыблемыми, нет...

Это касается чего-то самого главного для нас.

Главный режиссер из крымовского спектакля «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция» (поставленном в «Мастерской Петра Фоменко») в самой первой части первого действия достает ружье и буквально расстреливает одного за другим артистов, которые «пробуются» на роль (вы уж простите мне, что я это все пересказываю своими словами, на самом деле пересказать *это* все равно невозможно). Грубый фарс, грубая ирония довольно часто приходит на помощь режиссеру Крымову в его тонких и воздушных спектаклях, таковы правила игры.

Это «ружье» — тоже один из волшебных крымовских предметов, вещей-метафор, которые нужно разгадывать, добавляя в них свои смыслы. Здесь вроде бы все просто — режиссер всегда диктатор, театр или его закулисье — место жестокое, цель творчества — самоотдача, а не награда, не успех, ну и так далее.

Но когда на финальных секундах улетает в небо его душа-телефон, а сам он, как и положено герою оперы Моцарта, проваливается в преисподнюю, то есть под сцену, с огнем и дымом, — мы вдруг понимаем, что это прощание не просто с персонажем,

с идеей театра как учреждения, но и «типом человека», вот с этой «устаревшей моделью», которой, возможно, уже никогда не будет.

Это прощание с «устаревшей моделью» человека, который принадлежал только творчеству. Жил только в нем. С человеком, который считал, что творчество, «работа» (тоже понимаемая как творчество), служение чему-то важному (культуре, литературе, театру, музыке) оправдывает все. Собственно, таким человеком является и сам Крымов, и многие из тех, кто читает этот текст, и я сам, и мои друзья.

«Генеральная репетиция» — в каком-то смысле прощание с этими нашими иллюзиями.

Кстати говоря, в спектакле «Все тут», который, как я уже сказал, является большим оммажем или большой эпитафией старому театру и пьесе «Наш городок», Крымов довольно ясно описывает тот момент, когда он сам был вынужден отказаться от идеи «делать свой театр». Он делал его, как все мы знаем, много лет, выстраивая буквально по кирпичику: сначала курс в ГИТИСе, потом первые спектакли на сцене театра на Сretenке, потом «свой подвал» на Поварской, с буквально двумя-тремя десятками человек в зале, потом «большие спектакли» с «настоящими актерами», потом «управление» всем этим хозяйством, «ремонт подвала» и «разные договора», в общем, весь этот ужас, который висит на худруке, когда нет полноценного директора или он не может себе его позволить. Короче, «свой театр».

Ну а потом...

В спектакле «Все тут» Крымов подробно рассказывает, как в его жизни наступил перелом: он услышал «звук лопнувшей струны», означающий, по его мнению, что твоя жизнь, та, какую она была, вдруг внезапно превратилась в прошлое, вся. И надо начинать новую главу.

В этом куске он сначала подробно описывает похороны.

А потом — окидывает взглядом кресло. Старое, доставшееся в наследство — из детства. «Кресло это в связи со многими нашими переездами и ремонтами я перевез в театр, где я работал — "Школа драматического искусства", — да так там и оставил... вместе с надписью "ВКПБ", когда уходил: поставить в нашей квартире это тяжелейшее чудовище было негде. Это (показывая на кресло, стоящее на сцене) — имитация, сделанная по памяти».

Вот так, без лишнего пафоса, но очень ярко, как всегда с помощью детали, Крымов показывает, как навсегда ушел из «своего» театра и стал просто «режиссером». Освободился от прошлого.

Казалось бы, сюжет очень личный. Казалось бы — это «совсем про себя». Но почему это волнует?

После «Генеральной репетиции» я задумался о том, почему все же главным сюжетом, героем в этих спектаклях всегда является театр? Почему это всегда такой «театр в театре»?

Во «Все тут» мы вспоминаем Анатолия Эфроса и его друзей, старые гастроли, спектакли, погружаемся в атмосферу немного истерического обожания, которая всегда следует за великим режиссером, здесь масса подробностей, масса деталей из этого, казалось бы, уже немного пыльного театрального прошлого; в «Генеральной репетиции» — вообще огромный миф о режиссере как о Дон-Жуане, соблазняющем, нет, не женщин, а артистов, исполнителей своей нечеловеческой воли, сжигающем их буквально в этом «огне творчества».

...Театр как целостное явление (а уж тут, в «Генеральной репетиции», он именно как целостное явление показан во всей красе) становится для режиссера Крымова последней громадной метафорой — умирания всей нашей старой модели существования. Все становится лишь «материалом» для показа этого умирания «системы прежней жизни» — тексты, персонажи, старые трактовки, старые смыслы.

Из огня возникает новый человек и новый режиссер, основная идея которого — узнать, понять, как же жить-то в этом «новом прекрасном мире», без театра, без культуры, а главное — без самой «человечности»?

# Summary

Alexander GRINEVSKIJ. Kondratjev and Lelja

The setting of the novel is the second half of the 1990s. The protagonists are: a stuff member of a metropolitan brokerage business dreaming to leave to Canada and a strange woman looking like a local freak with a doll-face. He – about her: “A psychologist. I tried to ask where she works – she darks. Says that from time to time consults some firms on some problems. When we began to date something happened to me – I believed her”. She – to him: “Don’t relax, don’t believe anybody or anything and what is most important – no friendships. Only when you make your first million you may begin to think of what to do further”. It’s a story of searching the way to oneself and to each other.

Poetry

Peering into the maze of the life Efim BERSHIN is meditating on the blindness of times going round in circles. Mariam KABASHILOVA is also in the search of a human being. As well as Sukhbat AFLATUNY, who, belonging to the same circle of time full of incompatibilities, paradoxes and semblant impossibilities, hopes that “glory comes to those who do not wait for it”.

Alexander MESHCHERYAKOV. Demographical Experience of Japan: from Large Families to Long Life

“Japan has made a fantastic breakthrough in economics. As a result the ordinary Japanese people have considerably raised their living standards. But the life has become perfectly different”. The well-known Russian japanologist, translator and writer describes the amazing phenomenon of the Japanese demographic policy which has taken place in the period of time unprecedentedly short by historical standards.

Boris MINAEV in the rubric “Rules of Play”

shares his impressions of the latest performances directed by Dmitrij Krimov and his book “In One’s Own Words: Acting Versions of 9 Performances Written down Before They Are Staged”.

The final of the play “Mozart. Don Juan. General rehearsal”. In the darkness the luminous telephone slips out of the stage director’s hand, flies upward to the ceiling (heaven) and disappears. It’s difficult to tell easier and clearer about the soul and its death. The soul enclosed in the box of a gadget with all its “contacts”, connections and information flies away somewhere. A powerful symbol”.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

<http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

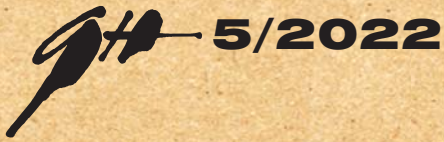
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



## Читайте:

**Илья Фаликов. Повесть «Косуля пробежала»**

*«По Генрих-Бёлль-Штрассе едет мусоросборочная машина с колокольчиком. Она приезжает каждый вторник, привозя ко мне — Грузию. Подобный колокольчик будил меня каждое батумское утро.*

*...Шел 1988 год, грузинская интеллигенция говорила о независимости. Россию поливали как могли, как будто нас, русских, в этот момент не было рядом. ...Мы утонули в гостеприимстве.*

*...В одном из застолий я влип в нехорошую ситуацию. Попытавшись достойно ответить на пылкие дифирамбы в наш адрес, я заговорил о русских поэтах, влюбленных в Грузию, и прочел наизусть мандельштамовский стишок о том, что человек бывает старым, а барашек молодым. Наступила непонятная тишина.*

*В той образованной компании, где мы оказались, Мандельштам был персоной нон-грата.*

*Мне глухо объяснили, что Мандельштам полюбил Армению и не полюбил Тбилиси. О, боже.*

*Мы полюбили Тбилиси...»*